

Министерство культуры и молодёжной политики Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте

**«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу**

ЕВгений Лазарев

Избранное



Русское эхо
2009

Лазарев Е.В.

Л 17 Избранное: Рассказы, очерки и были, лирические этюды. — Русское эхо: Самара, 2009. — 240 с.

978-5-904319-02-1

Имя Евгения Лазарева давно хорошо известно читателю. В его произведениях удачно сочетаются глубина постижения характера человека и широта взгляда на окружающий нас мир. Их отличают занимательность сюжета и убедительность психологических мотивировок, достоверность деталей и богатство, пластичность языка, мягкий юмор и тонкий лиризм.

Настоящая книга подготовлена к 70-летию писателя.

978-5-904319-02-1

© Лазарев Е.В., 2009.

© Русское эхо, 2009..

Голос родной стороны

Когда я читаю Лазарева, как бы слышу голос родной стороны. Слышу, как вода стекает с рыдвана, с лошади, выскочившей из озера на сухой взгорок, с дедовых промокших итанов, слышу радостный хохот самого старика, полный ребячьего восторга, укоризненно-добродушное ворчание бабки.

А ещё слышу, как соловей разговаривает с удивлённо притихшей округой.

Много чего открывается сердцу в звуках родной стороны. Они вещи и зримы, как зрим сам живой писательский язык, его правдивая пластика. То голос самой жизни, с детской поры запавший глубоко в сердце, пронзительностью родного звука трогающий каждую отзывчивую читательскую душу.

Всё это оттуда, из деревенского далека — и сочность деталей, и ясность мысли, и глубина суждений, и небесная чистота необъятного русского слова. Это язык наших родителей, который близостью сыновнего родства связывает нас с самым чувствительным нервом Родины.

Как точна и сладостна эта речь! Как крепко и своеобразно просто сбито безобманное русское слово! Как понятно и надёжно оно!

«...Уже после солнечного заката пошёл я за озеро собирать валежник. В пологую долину натёк сырой и прохладный воздух, на разных уровнях плавали синие слои тумана, где-то далеко в густеющем сумраке начал похохатывать филин и сотня, должно быть, соловьёв щёлкала со всех сторон...»

Это из лирической миниатюры «Ночная песня».

Казалось бы, что тут такого? Простые слова, простая картина. А вот задевает, трогает так, что щемит сердце. Трогает чувством сладостной тоски и какой-то неразделённой радости.

Отчего бы это? Да, наверное, оттого, что опять же всё это кровно родное, страшно близкое. Это и есть голос родной стороны, в котором гармонично слились её цвета и узоры, её состояние, полное весеннего духа и запахов сумеречного вечера.

Всё это когда-то происходило и с нами. И нами же по-своему пережито, перечувствовано, вошло в плоть и кровь нашу, легло в глубокие залежи сознания.

Потому и не покидает тревога. Ведь всё это хрупко, как первый речной ледок, может треснуть, развалиться, уйти. А где-то уже и ушло, но ещё осталось в нашей памяти, не исчезло, что писательское слово не дало окончательно затянуть всё ряской забвения.

Евгений Лазарев принадлежит к поколению писателей-«деревенщиков». К младшему крылу этого литературного направления, во весь голос заговорившего с народом на рубеже шестидесятых годов теперь уже прошлого столетия. Первая книжка его рассказов «Я люблю Вас, Колька» вышла именно в 62-м году.

На его программный рассказ «Жених и невеста», напечатанный в своё время в «Литературной газете», тёплым письмом сразу же отозвался покойный Виктор Астафьев.

Ныне остаётся лишь жалеть, что силы этого мощного направления русской литературы, рождённого тревогой и отчаянием за судьбы российской деревни, безнадёжно иссякают и, наверное, уже иссякли, и большие едва ли поднимутся до вершин былых величайших художественных творений. Ведь не случайно же всё тот же Виктор Астафьев как-то горько обронил: «Мы отпели последний плач...».

Да, отпели. Как отпели свой плач по «дворянским гнёздам» Иван Сергеевич Тургенев, Антон Павлович Чехов, Иван Алексеевич Бунин и другие писатели прошлого.

Да и сам язык уходит, останется лишь суррогат, «лагерный идиш», по выражению бывшего ельцинского министра печати Полторанина, на котором бойко и трескуче перемалывают ныне свою пустоту молодые телеведущие. И говорят-то так, как будто куда-то страшно торопятся, как будто под ними горит что и они боятся не успеть вывалить на нас весь свой трескучий «стёб».

Что ж, время другое на дворе. И деревня другая. На глазах исчезает, а вместе с ней до основания рушится и её вековой уклад. Ныне в иных деревнях тон задают уже не вековые ста-

рожили деревенского мира, а спившиеся квартирновладельцы, воровато вывезенные из городов предприимчивыми дельцами. А это уже совершенно новое явление, новая напасть, о которой в 60-х годах и слыхом не слыхивали.

Да и самому названию «деревня» грозит полное исчезновение в потёмках времени. Уже сейчас в документах административно-территориального деления нет подобного понятия. С лёгкой руки теперешних «образованцев» оно в законодательном порядке заменено словом «поселение».

Что же это за поселение? Чьё? Кого имели в виду законодатели, составляя подобные бумаги? Может, вот этих самых спившихся горожан с отобранными у них городскими квартирами и поселенных в деревнях?

Из истории известно, были поселения каторжан, политических ссыльных, уголовников, отбывших положенные им сроки и, наконец, военных колонистов аракчеевской поры. Но теперь-то с какой стати веками живущие на своей земле крестьяне превратились в поселенцев?

И об этом думаешь, читая прозу Евгения Лазарева, как и о том, что его родная Булькуновка, оказывается, теперь вовсе не деревня, а поселение.

Вспоминается старик Семён Егорович Плетнёв, герой лазаревского рассказа «Крестьянское гнездо», занятый тем, что сочиняет историю своего разорённого административным зудом Заречья с одной заветной мечтой: «Я вот историю напишу... люди сюда опять жить придут, не может такое место пустовать».

Сам старик Плетнёв не может бросить своё крестьянское гнездо, вековые корни не пускают. «Не могу допустить, чтобы посёлок на нет сошёл. Пусть хоть на мне одном, а держится».

Оно и сейчас так происходит. Если деревня и дышит, то благодаря таким вот земным людям, каковым является старик Плетнёв. Не станет их и сколько ещё «пустых мест» останется в России! Сколько их уже сейчас по стране! Сколько в нашем Заволжье! В иных местах лишь заросли чертополоха да сгнившие кресты отеческих могил и укажут на то, что и здесь когда-то шумела жизнь. И жили здесь простые и славные люди,

великие труженики земли, веками нёсшие на себе все тяготы России.

Таковыми были и родители писателя Е. Лазарева, навеки лёгшие в землю, на которой трудились и росли.

Сам Евгений Васильевич, кроме писательства, добрых два десятка лет возглавлял областную творческую организацию. Все эти годы мне довелось быть рядом с ним, работать его заместителем и близко видеть его в деле. Главное, что привлекало и привлекает в нём, это его основательность. Основательность суждений, житейского взгляда, основательность дела и писательского слова, наконец. Из литераторов мало кто обижался на него, хотя бисер ни перед кем не метал, в лестии не рассыпался. Высказывал подчас и неприятные суждения, но всегда правдивые и честные.

А на правду разве можно обижаться?

Иван Никульшин,
член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры РФ

Шла весна

Свирепая вода

Речка вскрылась. Чтобы не прорвало плотину, открыли спуск, но это не помогло. Земляную плотину размыло, расшибло льдами, своротило на сторону. Проезда на другой берег не стало.

По бешеной весенней воде несло льдины. Они то мчались, покачивая голубыми боками, то кружились на месте, с хрустом стукались друг о дружку, вставали на ребро и, сгрудившись, создавали зыбкий, скрежещущий затор.

— Вот так, наверное, роженицу ломает, — сказал я, глядя на реку.

— Не знаю, — с сердцем ответил Воронцов, — не рожал!

Мы с Лёшей скорбно переглянулись у Воронцова за спиной и покачали головами: похоже, что прощения нам не было.

— Таких дураков ещё поискать, — задумчиво протянул Воронцов и, вздохнув, повторил: — Поиска-а-ть ещё таких дураков!

— Алексей Ильич, чать мы не нарочно! — в который уже раз жалобно проговорил Лёша.

Воронцов повернул к нему худое небритое лицо с тонким, как сабля, носом и внятно, словно ученику, разъяснил:

— Если бы вы сделали это нарочно, вы были бы вредителями, а то вы просто дураки. Понятно?

Мы боялись Воронцова как огня, возражать ему было бесполезно, и Лёша кивнул головой:

— Понятно!

Прямо против нас на другом берегу виднелись тракторные сани, на них громоздились ящики с запасными частями. Из-за этих-то саней нас Воронцов теперь и казнил. Вчера мы тащили их с Лёшей на тракторе из РТС.

Нас пристигла ночь возле самого переезда. Упал туман, и мы сослепу сели в такую грязь, что наш ДТ так и не смог сволоочь сани с места. Помаявшись часа три, решили, что утро вечера мудренее, отцепили трактор, налегке прикатали в село и легли спать, вместо того чтобы просить у Воронцова помощи. Утром Воронцов разбудил меня сам.

— Запчасти есть?

— Есть, — ответил я, безмятежно потягиваясь.

— Сполна? Ничего в РТС не зажали?

— Хотели было ящик поршней зажать, да мы, можно сказать, глоткой взяли!

Воронцов одобрительно кивнул.

— Где сани поставили?

Я покашлял.

— С саниами так, в общем, получилось: сели мы у переезда. Дело ночное, будить вас не хотели. Теперь ещё трактор давайте, выдирать надо.

Я даже перепугался, как Воронцов изменился в лице. Он весь помучнел.

— Это ты серьёзно?

— Да уж какие шутки! Вчера полночь приехали, оба мокрые, как суслики. Потому и не зашли к вам.

— Да ведь речка тронулась, деликатные олухи! — заорал Воронцов и,хватив дверью, бросился из избы.

Путаясь в штанинах, я собрался, вылетел на улицу и сразу услышал ровный сильный гул бушующей воды.

«Не могла другого времени выбрать, зараза!» — с ненавистью подумал я о речке.

Лёша уже мчался с другого конца улицы. Не поздоровавшись, не обмолвившись словом, мы побежали к реке. Воронцов стоял там. Поднявшееся солнце разнесло в клочья вчерашний туман и картина открылась с беспощадной ясностью: развороченная плотина, мутная, в тугих завитках воронок вода — и сани на том берегу!

— Лодку бы! — тоскливо произнёс Лёша.

Но наша проклятая речушка, столь грозная весной, летом почти начисто пересыхала и лодок на ней не держали: в любом месте переходили, не замочив колен.

— Может быть, через верхний мост попробовать? — предложил я.

— А может, вертолёт вызвать? — ядовито сказал Воронцов. — До верхнего моста семь оврагов и все тронулись! Эх и подвели же вы меня, соколики, под монастырь! Хуже нельзя и выдумать. Трактора в ремонте, а поршни — на том берегу. Теперь сложи руки и жди чуть не неделю, когда вода сойдёт.

Мы с Лёшкой подавленно молчали. Теперь все начнут нас проклинать и в мастерской, и дома, а главное, Воронцов перестанет уважать. Это уж точно. Какого же мы свалили дурака!

Солнце грело, как летом. Вода начала прибывать. Скопившийся возле плотины лёд не давал ей ходу и она закипала, вертелась воронками, покрывалась пышными лоскутьями пены. Берега скрылись совсем: речка была полнёхонька.

— К вечеру ещё подопрёт, — сказал Воронцов глухо. — Держись тогда сани!

Только сейчас я понял: если вода выйдет из берегов, она затопит стоящие в низком месте сани и любая шальная льдина сшибёт ящики с поршнями в воду. А их если и не унесёт, то заилит так, что потом не сыщешь.

— Алексей Ильич, — заглядывал в лицо Воронцову Лёша. — А ведь я знаете какой лёгкий? Во мне пуда четыре, больше не будет.

Воронцов повёл в его сторону своим носом-саблей:

— Ну?

— Я верёвкой обяжусь да как чесану по льдинам на ту сторону. А другой конец вы тут держать будете. Подтащу ящики к берегу, обяжу, на льдину поставлю, а вы поволокёте. Чесануть, а?

Воронцов покачал головой:

— Пустил бы я тебя, да мне в тюрьме сидеть неохота.

— За что же вам сидеть?

— А за то сидеть, глупый человек, что ты утонешь, а меня за штаны возьмут: куда, скажут, смотрел, старый дурак!

— Никто вас за штаны не возьмёт, я по своей охоте пойду!

Воронцов улыбнулся и похлопал Лёшу по плечу:

— Дурачок, вода ведь холодная!

— Чего вы смеётесь, Алексей Ильич! — закричал Лёша. — Без поршней остаёмся, а вы с нами, как с маленькими, разговариваете! Чать у вас тоже сердце болит!

— Ну-ну, — со смешком сказал Воронцов, — заголосил!

Он с минуту смотрел на бурлящую воду.

— Какую же тут верёвку надо?

— Пятеро вожжей связать, — сказал я, — не меньше.

— Или трос принесём тоненький, — подхватил Лёша.

— Трос не годится, — отверг Воронцов. — Он в случае чего ко дну потянет... Железо всё-таки.

За вожжами послали меня.

— Куда тебе пятеро? — подозрительно спросил конюх, когда я пришёл на конюшню за вожжами. — Для озорства какого-нибудь.

— Воронцов просил.

— А-а! — Он бросил мне вожжи.

Воронцова в колхозе побаивались, пожалуй, не меньше, чем председателя. Хотя был он только бригадиром тракторной бригады. Когда он выступал на собраниях, люди переставали грызть семечки. Если в правлении появлялся, председатель предлагал свой стул и бросал все дела: попусту Воронцов не придёт.

У всей деревни был в памяти давнишний случай. В заливных лугах метали в стога сено, целый день работали на жаре без передыху и уж перед самыми сумерками решили пошабашить: остановили стогометатель, сложили вилы и засобирались домой. Один только Воронцов стоял на невывершенном омете и продолжал перекидывать сено.

— Слезай, Алексей Ильич, завтра dokonчим.

Воронцов словно бы и не слышал.

— Спускайся, — кричали ему снизу, — до дому пора! В один день всю работу не сделаешь.

Он опёрся о вилы и проговорил с расстановкой:

— Первый раз вижу, чтобы крестьяне от незавершённого омета уходили.

— Так завтра ж dokonчим, гляди, ночь надвигается.

— А завтра дождь пойдёт, прохватит насквозь, погнойт всё сено, тогда как?

— Да что ты за ударник такой выискался! — басом загудел Тимофей Поярков. — «Дождь, дождь...» На небе тучки нет, а ему ливень мерещится.

Как ни подступали к нему, Воронцов с омета не слезал.

— Уйдете — я один буду работать.

И сломил-таки всех: поругиваясь, взялись за вилы, закончили стог, Воронцов полюбовался работой и довольно проговорил:

— Ну вот, теперь и домой можно. А дождь всё равно будет, чует моя старая рана.

И точно: не успели доехать до деревни — полило как из ведра.

Люди только руками разводили:

— Ну, колдун, ну, колдун!

Мы, зелень, обожали Воронцова. Он был для нас ку-миром. Попасть к нему в тракторную бригаду считалось удачей — всё равно что пройти в институт по конкурсу. Мы с Лёшей работали у Воронцова, «оперялись» под его наблюдением, нас уже начинали похваливать. Потому-то так и расстроила нас эта история с проклятыми поршня-ми: подвели Алексея Ильича.

Воронцов с Лёшей стояли у самой воды и тыкали палкой в льдины. Затор ещё держался. Едва дышал, но держался. Я окликнул их, они подошли и мы стали мол-ча, сосредоточенно разбирать и связывать вожжи. Во-ронцов быстро, ловко вязал простые, но, по-видимому, мёртвые узлы. У него были удивительные руки: длин-ные, угловатые кисти, тонкие, знающие своё дело паль-цы. Я никогда не видел на них обычных в нашем деле ссадин, чёрных следов от молотка, царапин. Смуглые от вьёвшегося масла, они всё-таки казались безукоризнен-но чистыми, даже нельзя было подумать, что это руки старого тракториста.

Связанные вожжи неровными кольцами лежали на земле. Затор два раза затрещал и заходил.

— Поторопимся, — сказал Воронцов. Он сбросил те-логрейку и остался в суконной толстовке, охваченной по-талией ремнём. — Пойду я!

— Что вы! — закричал я. — Вам нельзя. Пойду я или Лёшка. Мы дёрнем спичку.

— У вас нет сноровки, — сказал Воронцов, — а у меня есть.

— Мы виноваты, — закричал Лешка, — нам и идти! У нас по плаванию третий разряд, мы не утонем!

— Не могу терпеть в людях привычку пререкаться, — произнёс Воронцов. — На фронте сто раз наводил мосты через такие речушки. Для меня это обычное дело. А вы, наверное, думаете, что я к подвигу готовлюсь.

— Это нечестно, — решил я на последнее средство. — Если с вами что-нибудь случится, нас тоже посадят.

Воронцов вдруг засмеялся:

— Ничего, отсидите, вы молодые, а у меня уже времени нет. Ладно, всё это шутки. Не утону! Мы в войну впятером километров семь на льдине плыли. Плывём, а сами табак по разным местам раскладываем, чтобы хоть где-нибудь сухой остался. Я, помню, в ушанку насыпал, за отвороты. Перехитрю, думаю, всех. А она-то как раз первая и намокла: водой окатило от снаряда.

Рассказывая, он подвернул рукава толстовки и выложил из кармана затрёпанный блокнот и папиросы. Потом взял конец вожжей.

— Что бы вы сейчас стали делать?

— Я бы обвязался у пояса, — сказал Лёша.

Воронцов иронически покачал головой:

— А случись что, упадёшь в воду, верёвку зажмёт льдинами и ты сам себя утопишь. Самое надёжное — взять конец в руку. Вот так.

Воронцов ступил на край колыхнувшейся льдины, ногой попробовал крепость. И вдруг осторожно, но быстро и уверенно шмыжком двинулся к другому берегу. Мы потихоньку травили верёвку.

Всё пропало для меня: и небо, и солнце, и берега, и чёрные с белыми пестринами поля — остались только два аккуратных яловых сапога, предательски зыблющиеся льдины и пляшущая вокруг них свирепая вешняя вода.

Воронцов то останавливался, неожиданно, будто укрыв частицу расстояния, пробегал вперёд, пробовал ногой крепость затора, то подавался назад. В одной руке у него была верёвка, другую он держал на отлёте и при каждом шаге балансировал ею.

У самого берега Воронцов остановился и, не оборачиваясь, спросил:

— Верёвки много осталось?

— Есть ещё! — поспешно и оба враз закричали мы с Лёшкой. — Хватит!

— Дайте побольше!

Мы отпустили верёвку и Воронцов неожиданно для нас, словно позабыв про осторожность, прыжка в четыре достиг берега и уже, скользя и помогая себе рукой, лез по мокрому взлобку на ровное место.

Обернувшись, он помахал нам рукой, а мы с Лёшкой, онемев от восторга, кинулись обниматься.

— Хватит плясать! — строго крикнул Воронцов. — Не упустите вожжи!

Холодом несло от мутной, посверкивающей воды, от дрожащих хлопьев пены, от беспрестанно толкущихся и вздымающихся льдин. Невозможно было представить, что только минуту назад по ним прошёл человек.

Воронцов привязал конец верёвки к кусту тальника и направился к саням. Вокруг непролазная грязь, и было видно, что Воронцову едва хватает голенищ, чтобы не зачерпнуть её сапогами. Он подошёл к саням, потрогал ящики и вроде бы без особого усилия, один за другим стащил их прямо в грязь.

— Здоровый, чёрт! — вырвалось у Лёшки.

Воронцов упёрся в ящик, напрягся всем телом и стал толкать его к берегу. Опоры ногам в скользкой грязи не было и Алексей Ильич то и дело падал на колени, пока придвинул ящик к воде.

Когда все ящики были на берегу, Воронцов остановился и вытер лицо рукавом. Оставалось поставить ящики на льдину. Я не представлял, как он это сделает один. Ставить нужно было на самую крайнюю льдину, чтобы другие потом не мешали тянуть её на нашу сторону. А эта крайняя, как мы видели, стояла от берега метрах в двух. Попробуй затащи на неё тяжёлые поршни, не в воду же лезть!

— Алексей Ильич, — не выдержал я. — Можно, кто-нибудь из нас перейдёт? Одному там не справиться!

— Нельзя! — жёстко отрезал Воронцов. — Делайте, что скажут.

Я прикусил язык. Воронцов повернулся и зашагал за следующим ящиком.

— Ага, — догадался Лёша, — он по бревну хочет.

Воронцов взял из саней две толстые осинового слёги, приволок их к воде и перекинул с берега на самую середину облюбованной им льдины.

— Гениально! — со сдержанным восхищением проговорил Лёша.

И с этого момента в меня вошла радостная уверенность, что всё кончится хорошо, как и всякое дело, за которое берётся наш бригадир.

— Тяните, — приказал он, — только не во всю дурь, а осторожнее!

Ящик поехал по слегам. Алексей Ильич двигался за ним и придерживал рукой.

— Ещё, — командовал он, — ещё чутьок!

Льдина заколебалась, беспокойно задвигалась, ящик въехал на её край. Ещё шага три, и Воронцов уже отвязывал от него веревку. Так же, без осложнений, мы втащили на льдину и второй ящик. Воронцов поставил ящики рядом, обвязал их верёвкой, взял одну слегу в руки, другую спихнул в воду.

— Ну, — сказал он, — трогаемся. Тащите сильнее, только без рывков.

Он упёрся слегой в край затора, льдина, медленно колыхаясь, отошла против течения и мы, осторожно налегая, поволокли её поперёк реки.

— Нажми! — крикнул Воронцов.

Но льдина уже опять попала под властную тягу течения, пошла вниз и ударила в затрепавший затор. Воронцов снова оттолкнулся.

— Нажми!

Метра через три — новый удар по льдинам.

— Нажми!

На середине реки течение приобретало бешеную силу. После каждого удара льды в заторе оживлённо лезли друг на друга, трескали, а у нас холодело внутри от страха за Воронцова. Он продолжал отталкиваться слегой и кричал с азартом:

— Нажми! Нажми!

Середина реки была уже пройдена, когда наша льдина ударила затор, по-видимому, в самое чувствительное место: он как-то весь сразу и тронулся. Поднялся невообразимый треск. Наша льдина вдруг отказалась дальше следовать. Она упрямо вертелась на одном месте, то высоко поднимала край, то норовила нырнуть под воду. Воронцов бросил свою жердь, схватился за поехавшие к краю ящики и, балансируя всем туловищем, с трудом удерживался на середине льдины. С него слетела и поплыла чёрная, военного образца фуражка.

— Ребята, наискосок надо тащить, — негромко и очень спокойно произнёс он.

Мы взяли наискосок. Я мельком глянул на Лёшу. Он неровно дышал от напряжения, прихватив зубами нижнюю губу. Воронцов без фуражки, с разъехавшимися волосами стоял посередине реки на крутящейся во все стороны льдине и негромко говорил нам:

— А теперь потяните влево. Вот так. Ослабьте чуток. Прямо тащите.

Зигзагами льдина наконец-то миновала самый стрепень. Медленно и тяжело подошла к берегу. Мы бросили верёвку, вцепились в злополучные ящики и оттащили их подальше от берега.

Я разогнулся и посмотрел на реку.

Льды сошли. Вода шла прямо через плотину. Она шла и падала вниз единым тугим потоком. На кривой зелёной поверхности спада не было ни единой морщины, как на витринном стекле.

Воронцов сидел у самой воды на корточках и тщательно мыл свои яловые сапоги.

Катькины слёзы

Колхозный кладовщик Ефим Корягин считал в амбаре мешки. В воздухе седоватым туманом висела мучная пыль и от этого лицо кладовщика выражало нечто вроде презрения. Ефим спиной чувствовал, что кто-то подошёл и стоит в дверях, но не оборачивался до тех пор, пока не досчитал до круглой цифры. Только после этого он посмотрел назад. На пороге, прильнув к косяку крепким станом, стояла повариха Катька Маркелова.

— Чего тебе? — спросил Ефим, суровостью давая понять, что по пустякам он разговаривать не станет.

— Вилки давай, — сказала Катька.

— Чего?

— Вилки, говорю.

— На какой предмет?

— Комбайнёров кормить.

Ефим с минуту озадаченно изучал легкомысленное Катькино лицо, раздумывая, как ему поступить, чтобы в следующий раз ей неповадно было осаждать его глупостями. Никаких вилок у него на складе не было, да и никогда на полевых станах их не употребляли, обходились ложками.

— А салфетки тоже выписывать? — тихо спросил наконец Ефим.

— Какие ещё салфетки?

— Вокруг шеи завязывать! — выкатывая глаза, закричал он вдруг. — Не слыхала? Чтобы фрак не марать. — Ефим широко раскрыл рот и зашёлся хриплым ядовитым хохотом: — Не-хе-хе-хет! Тебе не на стану работать, а в ресторацию, девка, подаваться. Там тебе и вилки, и хужеры, и ферлююшки. Чего вилками-то есть будете, кашу размазывать?

Катька потупилась и застенчиво сказала:

— Котлеты хочу сделать...

— Котлеты! — покачал головой Корягин. — Где же тебе, садовая голова, на двадцать человек одной котлет наготовить! Чугун картошки с мясом напарила — и милое дело. До свидания, в общем. Нет у меня никаких вилок, не прогневайся. Как там новый-то комбайнёр? Работает?

Катька густо покраснела и сдавленно пробормотала:

— Досуг мне следить, кто как работает, у самой забот по уши.

Новым комбайнёром Ефим называл студента Илью Овражкина, приехавшего в колхоз на практику из сельскохозяйственного института и поселившегося в ветхом домишке старого бобыля Никиты Круглова. Ребят в колхозе было не густо и поэтому девочки часто бросали на студента короткие пристальные взгляды. Парень с лица был красивый, только немного бледноват (полагали, со студенческих харчей), со слабой тенью юношеских нежных усов на припухлой губе, с каким-то рассеяннo-любопытствующим взглядом, с привлекательной нездешней манерой разговора.

Каждое утро студент несколько раз пробежал из конца в конец по затравеневшей деревенской улице, а потом на дворе у Никиты долго разводил в стороны руками, приседал и поднимал ржавую тележную ось.

— Физкультурник он, — пояснил старик Круглов интересующимся. — На вид вроде поджарый, а крепкий — страсть. Мы в ту субботу в бане парились, я ему на испробу поддал ковшичек. Блажью орёт на полке, а не слазит. Усидчивый паренёк!

К девичьему разочарованию, студент оказался не охоч до танцев. Сидел допоздна над книжкой или что-то писал.

— Голова-а! — хвалился постояльцем Никита. — Книжки эти как с хлебом ест. В па-а-литике силён! Войны, грит, дедушка, ни в жисть не будет. Я его спрашивал.

В клуб Илья приходил только от случая к случаю — посмотреть кино, взять книжку или сыграть в шахматы с колхозным счетоводом Митродоровым. И странно менялись при нём девочки: прямого внимания вроде бы не обращали, но хохотали возбуждённее и громче обычного, злее высмеивали друг друга, самозабвеннее танцевали. А

Верка Семиглазова, та и говорить-то начинала каким-то не своим голосом: жеманно, приторно — явно завлекала.

Один раз студента всё-таки вывели из равновесия. Окончилось кино, девчата принялись растаскивать лавки к стенам, освобождая место для танцев. Илья стоял и, щурясь от света, неопределённо улыбался. В тёмных сенях перешёптывались, пересмеивались, взвизгивали. И вдруг кто-то явственно сказал там:

— Им, наверное, в институте танцевать не разрешают!..

Лицо у Ильи сделалось серьёзным и сосредоточенным. Он дождался начала музыки, твёрдо прошёл через весь зал в противоположный угол, где сидела стайка девчат, с подчёркнутой учтивостью пригласил наугад первую попавшуюся девчонку и стал с ней танцевать, не меняя серьёзного и сосредоточенного выражения лица.

Это была Катька.

В первую минуту она ужасно перепугалась, увидев идущего прямо на неё студента, поднялась с лавки с запыхавшим, жалким и растерянным лицом, с влажно заблистевшими вдруг глазами. Сердце у неё оборвалось и мучительно долго падало куда-то. Танцевали они совершенно одни. Катька боялась посмотреть по сторонам и только один раз осмелилась поднять глаза на студента. Ей казалось, что он тоже переживал и волновался вместе с нею. Но Илья был твёрд и непроницаем.

Кончив танцевать, он опять отвёл Катьку в угол, проговорил что-то, чего она не разобрала, вроде бы даже поклонился и сейчас же ушёл домой.

— Гордец! — произнёс кто-то в наступившей тишине. — Не хочет танцевать с деревенскими.

— Может быть, некогда ему, — неожиданно для самой себя заступилась за Илью Катька и, вконец смутившись от раздавшегося кругом смеха, вышла из клуба и торопливо зашагала по залитой лунным дымом улице, пьянея от томительных запахов ночи и слушая, как редко и глухо колотится её, Катькино, сердце.

В колхозе студенту дали комбайн. До начала уборки он его ремонтировал и ходил обедать домой, где они с дедом Никитой варили какую-то «салму», но, как только

выехали в поле, вместе со всеми стал питаться из Катькиного котла. Трудно было понять, узнал ли он в молоденькой поварихе ту девчонку, с которой танцевал в клубе: во всяком случае, виду не подал. Пришёл первый раз на обед с утомлённым пыльным лицом, с потными потёками от висков к подбородку. И показался Катьке таким обыкновенным и будничным, что у неё всё захолонуло внутри от какой-то непонятной материнской нежности к нему. Каким наслаждением было для Катьки налить ему щи, подать полотенце после обеда и сказать как будто незначительно, но с тайным намекающим смыслом:

— Вот эта ложка теперь всегда будет ваша, я её помечу крестиком.

А каковы стали её пробуждения по утрам! Ещё не очнувшись, ещё не открыв глаза, она уже смутно ощущала сквозь ускользающий сон какое-то радостное беспокойство и волнение, и несколько мгновений лежала в счастливом недоумении: что же это такое, разве праздник какой сегодня? И вдруг вспоминала: ах, да! Илья...

Что бы она ни делала: получала на складе продукты, чистила картошку, растапливала печь — всегда существо её было полно замедленным восторгом ожидания чего-то необычного. В клубе и на улице девчата теперь часто подсмеивались и шутили над ней, она, вспыхивая, зло обрывала их, но даже этот смех, эти шутки были ей втайне приятны.

Так прошло несколько дней и к светлой радости Катькиной любви стала примешиваться острая горчинка страдания. Не то чтобы не замечал её Илья, а как-то обидно не выделял из окружающих, никогда не говорил ей какого-нибудь особого слова и смотрел на неё всегда кратко и косвенно, точно говоря: надо же и на неё взглянуть. Правда, начал он обращаться к Катьке на ты, и она сперва обрадовалась, думая, что это что-нибудь значит, но оказалось, что это ничего не значит.

И стала Катька по ночам поплакивать, растравлять себя словами и мыслями: «А на что ты ему, дура, далась с твоей поварёшкой! Подумаешь, танцевать полезла! Сидела бы уж... Он вон какой учёный, книжник...».

Книжки с собой Илья носил даже на полевой стан. В

вагончике он их складывал на отдельную полку и, если выпадала свободная минутка, читал. Катька вытирала с них пыль и подолгу разглядывала, листала. Ей пришлось в голову, что и она должна их обязательно прочитать, чтобы когда-нибудь при случае поразить Илью. Однажды вечером она тайком взяла одну книжку потолще и унесла домой до утра. Это был Александр Блок. Всю ночь напролёт читала Катька туманные, какой-то неведомо смутной силой волнующие стихи, и всё в ней трепетало от сознания, что и он читал эти строчки, и они горячо и неясно волновали её.

А уж как старалась Катька на работе! Все чашки и ложки горели у неё ясным огнём, всё было всегда с пылу с жару, комбайнёры то и дело хвалили её, председатель, приезжая, непременно говаривал:

— Налей-ка ты мне, девушка, своих щей.

Но окончательно сразить всех Катька решила котлетами. Она уже несколько дней вынашивала идею такого роскошного обеда, чуть ли не банкета: с ровным рядом тарелок на столе, с блеском и звоном вилок, с бутылками квасу. Этот обед просто мерещился ей, она так утвердилась в решении осуществить его, что даже грубые насмешки кладовщика Ефима не поколебали её.

А впрочем, и Ефим сжалился. Катька уже отошла далеко, когда он, весь белый от мучной пыли, высунулся из тёмного зева амбара и закричал:

— Э-эй! Слышь-ка, Катерина! Ты домой ко мне зайди. У нас, кажись, где-то были вилки-то. Може, они заржавели маненько, так ты их наждачком ширкни.

Утро ещё было очень раннее. Низкое солнце нежно и ласково глядело в Катькино лицо сквозь мягкую голубизну дымки. Воздух был свеж и сладок, и каждый вдох томил и волновал сердце.

Когда Катька приехала на стан, комбайны на окрестных полях уже работали. Надо было разворачиваться вовсю, чтобы не затянуть с обедом. Она разложила продукты, нарезала мясо и отчаянно принялась крутить мясорубку. Но время от времени разгибалась и минуту-другую стояла, будто охваченная отрешённостью и оцепенением. В последнее время такие минуты вообще часто находили

на неё, особенно когда она вечером ехала одна в деревню на лошади. Катьке вдруг до потрясающей ясности представлялось, как Илья объясняется ей в любви. Она ясно слышала слова, которые он ей говорил, видела выражение его лица и даже себя, сидящую где-то на скамейке с опущенной головой, видела словно бы со стороны. Катька бессознательно десятки раз репетировала эту сцену, и почему-то особенно приятно было ей представлять, будто она по какой-то причине не может принять его любви, медленно и горько качает головой и говорит: «Нет-нет, это невозможно...» — «Почему? — с отчаянием вскрикивал Илья. — Разве ты не видишь, как я тебя люблю!» — «Нет-нет, — говорила Катька. — Прости меня, я хочу тебе только добра. Вспомни, что сказал Блок...».

Настоящая Катька не знала, что именно говорил Блок, но та, чудесная воображаемая Катька печальным голосом читала Илье какие-то звучные, отчётливые стихи. Между ними разыгрывалась ужасная трагедия, и Катька с болью и с наслаждением переживала её до конца, когда они всё-таки приходили к счастливому согласию.

Это наваждение в последние дни просто преследовало Катьку. Иногда даже при людях она бросала работать и, побледнев, бормотала:

— Нет-нет, это невозможно...

— Какие-то у тебя, барышня, завихрения в голове начинаются, — заметил как-то комбайнёр Цаплин.

— Деки не подтянуты, — объяснил ему помощник Юрка Потугин и они оба принялись хохотать от этой выдумки. Им-то что! Они — счастливые люди.

В два часа пришедшие на обед чумазые механизаторы оторопело остановились перед длинным столом, застланным снежно-белой бумагой, с торжественно-ровным рядом тарелок с посверкивающими вилками, ложками, стаканами, с коричневыми кувшинчиками квасу. Все молчали.

— Э-эх! Ёлки-моталки! — восхищённо проговорил наконец Юрка Потугин. — Вот эт-та церемония!

— Садиться, ребята, боязно...

— Никак умыться?!

— Катюха, чёрт те дери! Либо ты именинница нынче?

Катька, раскрасневшаяся от забот и волнений, разливала щи. Всё у неё сегодня удалось: и котлеты получились, и поспела вовремя. Но волновалась она так, будто не обедом кормить собиралась, а петь на сцене. Хорошо, что Илья где-то задержался и не подошёл вместе со всеми. Кончив разливать, Катька шмыгнула в вагончик, отёрла пот с зардевшегося лица, прибрала немного волосы и опять подошла к столу. Все её шумно хвалили, пили за её здоровье квас, просили добавки, желали хорошего жениха.

Илья всё не подходил. Съели первое, с упавшим сердцем Катька подала свои котлеты, а его всё не было.

— А куда у нас студент делся? — спросил кто-то за столом.

— У него ремень на комбайне лопнул, поехал в село за новым.

— Да вон же он. Едет! — таким звонким голосом закричала Катька, что все удивлённо посмотрели на неё и переглянулись.

Когда Илья с ремнём через плечо подъехал на велосипеде к стану, комбайнеры уже начинали вставать из-за стола. Лицо у Ильи было озабоченное, почти сердитое, из кармана торчала пачка газет.

— Что же так поздно ты? — спросила Катька чуть не со слезами. — Остыло теперь всё.

Илья глянул на Катьку равнодушно и холодно.

— Спасибо, — сказал он, — я в селе пообедал, не хочу.

— Да котлеты ведь...

— Я не охотник до них, — сказал Илья. — Сейчас молока напился. Мерси...

Катька чувствовала, что если она произнесёт ещё хоть одно слово, то разревётся.

— Да ты хоть попробуй котлеты-то, — сердито вдруг сказал Цаплин, — старалась ведь девчонка!

— Ну, только разве попробовать, — сказал Илья, сел к столу, распахнул газету и, рукой взяв с пододвинутой Катькой тарелки котлету, читая, стал жевать её.

Вся кровь, кажется, остановилась в Катьке. Молча и медленно побрела она от стола, зашла за вагончик, села на большую угловатую глыбу лежавшего здесь дикого камня и, не стесняясь, не боясь, что все слышат, заплакала.

Сеновал

I

Андрей Андреич вышел из избы на крыльцо, остановился и с долгим вниманием оглядел всё кругом, будто видел внове.

Было рано. Солнце ещё не взошло, но верха лёгких полынно-сизых столбов над печными трубами нежно алели. Крыши кое-где блестели от росы, воздух пах свежестью, как железный ковш с водой. На зелёной, коротко подщипанной скотиной мураве белел гусиный пух. Стреноженная лошадь тяжело и косо прыгала, мотая косматой, в репьях, гривой. Хорошо было слышно, как за околицей работала лесопилка: пила её то визжала в холостом беге, то, ввевшись в дерево, глухо и натужливо рычала, то глохла совсем.

Всё это, виденное Андреем Андреичем много раз, казалось сейчас особенным, не всегдашним — далёким и странно чуждым ему.

Сегодня, надевая прямо с печки поданные старухой валенки, невольно отметил он, что тепло их чувствует только кожа, а сама нога не радуется и как бы равнодушна. Вот и сейчас всё виделось резко и ярко, но всё пребывало само по себе, а он — сам по себе. Трава, небо, прыгающая лошадь и даже звук лесопилки имели болезненную значительность уходящего.

Держась за тёмную, отполированную ладонями баясину, боком, осторожно спустился с крыльца, перевёл дух и медленно пошёл в улицу — согбенный, но всё ещё высокий, в чёрном тяжёлом картузе, подшитых валенках, с сухим серебристым сиянием бороды вокруг жёлтого нездорового лица.

Только что согнали табун. В пустынном прогале улицы блестели и дымились свежие коровьи лепёхи и, озабо-

ченно сгорбившись, ходили куры. Серый ком воробьёв с шумом пересыпался с крыши на крышу.

Сивенькая девчонка с ободранными дочерна коленками трясла на руках словно бы в беззвучном хохоте зашедшегося мальчика и совсем по-взрослому приговаривала:

— А гляди-ка, гляди-ка: во-о-он старик-то идёт! Он тебя живо в мешок посадит. На, на его, дедушка! Отдай цыганам!

Андрей Андреич молча прошёл мимо, равнодушно отметив про себя: похоже, Авдотьи Маркеловой внучка, разговор-то весь её.

Шёл он без палки, медленно, но твёрдо, с достоинством, заведя одну руку за поясницу, а другую держа на весу, чтобы, если здороваться, ловчее было приподнять картуз. У него сохли, неприятно твердели губы, и во рту было мёртво, словно обварено. «Испить надо», — подумал он как о чём-то постороннем, нужном не ему, а другому.

Он остановился возле низенького домишка с дымчато-серой соломенной крышей и двумя узко поставленными окошками, похожими на сведённые к переносью глаза. Сквозь стёкла в глубине избы виднелась жарко полыхавшая багровая пасть печки и чёрные чугуны в ней с поднявшейся и быстро бегущей на огонь пеной.

На порог вышла длинная жилистая баба, ловко взмахнула ведром и далеко выплеснула зашипевшую на земле струю помоев с арбузными корками. Увидев старика, она смутилась и замешкалась.

— Вынесь мне воды, Катерина, — попросил Андрей Андреич.

Он отпил только один глоток холодной безвкусной воды и сказал, возвращая кружку:

— Ты опять помои на улицу льёшь, шалава... Ведь всем миром тебя за это срамили. Пора в разум всходить...

— Это не помои, а щелок, — сказала Катерина первое, что пришло в голову, и, вильнув подолом, скрылась в избе.

Она долго глядела из окна на сгорбленную спину уходящего Андрея Андреича, потом подошла к печке и, опершись на ухват, стала по привычке одинокой женщины разговаривать сама с собой.

— Позеленел весь, а всё ходит, глядит, кто где льёт. Твоё ли тут, сказать, дело? Уж тебе впору не об этом, Андрей Андреич, думать, тебя сама земля к себе гнёт. Прошлый раз ведро охвостьев отняла. Взяла со свинарника для курей — на тебе: треснула земля, чёрт вылез. Неси, слышь, обратно. Али, говорю, я охвостями этими колхоз разорила? Тебе, грит, выписали два центнера. Во всё уж вник — министр какой! Так и высыпала опять. А с Ванюшкой Мосевым? Два раза парень поле перепахивал: «Андрей Андреич забраковал». Как вроде агронома нет. Весь народ в свои руки взял. Чуть чё — к Андрею Андреичу! Внушили себе в голову, что умнее его нету, и лебезят. Куда, грит, помои льёшь! Уж не за Кривую ли гору мне их носить!

Катерина далеко сунулась в печь, поправила ухватом откатившееся полено и ещё раз глянула в окно на Андрея Андреича.

— В сельсовет, видать, пошёл. Вот покою нет человеку! Как, скажи, двужилый. Ходит, ходит день-деньской — мотнёй трясёт. А ведь в нём, если поглядеть, чай, ни одной косточки живой нет: все гнуты-ломаны. Всю жизнь на тижолой работе. То в кузнице грохал, то у телят дюжил. Одного навозу, чай, с Кривую гору перекидал. Как его, бедного, за это лето перевернуло! А ведь крепче его в деревне не было. Мне в каком году крышу крыли? Ещё вроде Верка в девках была. Он тогда с деревянными вилами пришёл: на них, слышь, больше нанижешь. Куда чего делось. Эхе-хе-хе-хе-е-е...

Катерина помолчала, потом произнесла скорбно, точно рассказывая кому-то:

— Дай мне, грит, Катя, воды...

...Чернявая девка, ловко мызгая тряпкой по крашеным доскам, мыла в сельсовете полы. Заслышав шаги вошедшего Андрея Андреича, она испуганно вскочила с колен и прынула, точно коза, в сторону.

— Ой, перепугалась как! Вы чего, Андрей Андреич, так рано?

— Пусти меня, дочка, к телефону... Позвонить хочу.

— А я уж не знай чего подумала. Чуть ведро не сшибла. — Она засмеялась, отводя от зардевшейся щеки волосы. — Вот шагайте сюда, на вытертое...

Она не спрашивала, куда нужно звонить Андрею Андреичу, знала, что больше некуда, как Дмитрию Андреичу — сыну, который работает директором совхоза в Пестравке и иногда приезжает в Кривогорье на новой зелёной «Волге».

Старик прошёл к телефону, тяжело опустился на стул, долго сидел, не двигаясь. Потом снял трубку и стал ждать, когда ответит станция. В трубке слышалось далёкое радио: слаженный хор пел «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке...». Андрей Андреич любил эту песню, всегда заводил её с бабами на гулянках, но сейчас и она была непонятна и чужда ему.

— Почта... почта... почта... — стал вызывать он. — Это почта? Пестравку мне надо. Алё... Пестравка? Сухо-тина мне. Директора, да... Пушай оторвётся.... Отец, мол, звонит.

В трубке замолчали, опять издалека послышалось весёлое, с присвистами пение хора. Наконец их соединили и сын ответил ему.

— Димок? — спросил Андрей Андреич. — Это я... Ну, жен ты мне, Димок... Ты меня не перебивай. Слушай, что скажу... Позже мне некогда. Вот слушай... Приезжай нынче домой во что бы ни встало... С делами посспеешь... Я нынче помру... Так вот и помру, не знаешь, как помирают?.. Приезжай как скорее... Ты молчи, дай мне сказать. Никакой больницы теперь уж не надо... Такой тебе мой наказ: как поедешь — захвати с собой гвоздей для гроба — восьмидесяток... Тёс у меня на подложке есть... Не перебивай, говорю... На хрест дубу достань... За Кривой горой на дальнем порубе два дубка стоят... Кой поменьше — спилите. Спроси у Алексея Анисимовича, чай, не откажет... Всё слышал?.. Ну вот, сынок... приезжай...

Андрей Андреич положил трубку и медленно стал подниматься со стула. Девчонка-уборщица стояла, прижавшись к косяку спиной, и смотрела на него из-под изломанных страхом бровей полными слёз глазами. С тряпки тоненькой струйкой бежала на пол вода.

— Ну, чего глядишь? — спросил Андрей Андреич. — Так вот... Беги теперь, дочка, за лошадьё. Назад уж теперь не дойду...

II

У Дмитрия Андреевича как раз в это время проходил утренний наряд. В его кабинете сидело человек пятнадцать: главные специалисты, управляющие отделениями, кое-кто из бригадиров. Директор сидел за небольшим акkuratным столом в глубине кабинета, остальные — вдоль стен на стульях.

Наряды Дмитрий Андреевич проводил подчёркнуто рано. Сам приходил в контору за час до начала и в районе знали: позвони Сухотину хоть в четыре утра — он уже на месте. Однажды на областном совещании, делая доклад об опыте совхоза, Дмитрий Андреевич начал его словами: «Прежде всего, товарищи, надо меньше спать...». Секретарь обкома пристукнул кулаком по столу и заметил: «Вот именно!», после чего фраза Дмитрия Андреевича стала, некоторым образом, крылатой.

Раннее вставание Сухотин считал непременным условием не только всякой деятельности, но и человеческого здоровья. Он говорил:

— Мужик — он не дурак: всю жизнь встаёт раньше петухов, а живёт — дай бог нам столько.

Просыпался Дмитрий Андреевич в половине четвёртого, до глубокой осени умывался на дворе из старинного, ещё от отца привезённого рукомойника, похожего на чайник с двумя дудками, наскоро завтракал чем попало — к еде был равнодушен — и покидал дом до вечера.

Ему приятно было идти по пустым и сонным улицам села. Приятно от сознания, что вот раньше всех встал он, за ним поднимутся другие и весь порядок дел и даже сам день как бы начинаются с него. В конторе он садился в своё простенькое креслице, на первом подвернувшемся лоскутке записывал коротко, кому чего сказать на наряде, а потом с полчасика просто сидел — думал.

Сегодня дел было особенно много. Ещё издали заметил на крыльце конторы чубатого парня в комбинезоне и усмехнулся: «Пришёл-таки...».

Вчера ночью прибежала к нему на квартиру Зинка Ковригина, простоволосая, босая, вся в злых слезах, и запричитала в голос. Васька опять пришёл пьяный, дебоширит и буйствует в квартире. Повалил всю мебель, грох-

нул об пол новый приёмник, стащил с окошек плисовые шторы, рубил их на пороге и всё кричал:

— Ты думаешь, я ради этого живу? Ради этого? Вот тебе — ради этого! Вот тебе — ради этого!

Такое с Васькой приключалось не первый раз. Однажды его и в каталажку сажали на восемь суток. Хотели всыпать пятнадцать, но Сухотин не дал: пахать некому.

— Ты чего, Вася? — мирно спросил Дмитрий Андреевич.

Васька, сгорбившись, сидел на ступеньке, мял между колен мазутную кепчонку и, сворота на сторону похмельное лицо, морщился, словно собираясь плакать.

— Дурак я...

— Ясно. В таком случае прошу в кабинет.

В кабинете Васька наотрез отказывался садиться, потом всё-таки сел на уголышек стула и опять принялся за своё — мял кепку и гримасничал: сейчас, мол, заплачу.

— Что же мне с тобой, Василий Петрович, делать? — спросил Сухотин. — Ну, выгоню я тебя из совхоза... — Он замолчал на минуту, давая Ваське переварить как следует. — Выгоню... Н-да... А дальше что? Детей бросишь? Другую жену найдёшь? А вдруг и у неё приёмник окажется? Сейчас ведь куда ни посмотришь — у всех приёмники да телевизоры. Надо тебе, Василий, с ними уживаться. Ты что, как пещёрный житель хочешь жить?

Васька всё ниже и ниже опускал голову, давая понять, что слова директора разрывают ему душу. Сухотин опять замолчал, зная, что неопределенное молчание действует сейчас на Ваську крепче всякой речи.

— Ну, вот что, — уже другим голосом начал Сухотин. — Иди работай. Я этот вопрос никуда выносить не буду, но в случае, если хоть один подобный намёк, я, во-первых, лично наломаю тебе шею, а во-вторых, выгоню. Ясно?

Лицо Васьки озарилось радостью. Он вскочил на ноги и торопливо схватился за дверную ручку.

— Спасибо, Дмитрий Андреевич!.. Я с удовольствием... Сам говорю: лупите меня, если что. Я трезвый, сами знаете, готов жить в поле... А как выпью — всё мне что-то доказать хочется... А у жены я прощения просил. Она теперь блины затевает. У нас так: как помиримся — так блины...

— Ну иди, иди...

Дмитрий Андреевич принялся набрасывать свой планчик и хотя, кажется, весь отдался этому, в какой-то отдалённой части сознания едва ощутимо протекала дру-гая, самостоятельная работа.

Васька убежал от него счастливый, а ведь всё могло быть и по-другому. Он, Сухотин, мог решить и так, и этак. И в обоих случаях был бы прав. Никто не стал бы с ним спорить, уволь он Ваську. Единственно, от него зависел сейчас целый поворот человеческой судьбы.

Зависимость и подвластность ему людей были для Дмитрия Андреевича привычны и всё-таки время от времени он переживал это с каким-то торжественным чувством. Сухотин не любил копаться в своей душе, но иногда само собой получалось.

Директором он стал чуть ли не со студенческой скамьи и на первых порах долго не мог привыкнуть к своему положению начальника. Было разительно, что все его слова, действия или мысли имели стократную, по сравнению с другими людьми, силу. Каждая фраза, жест, шевеление бровей моментально обретали обширные следствия. Он чувствовал в своих руках рычаги, усиливающие малейшее движение. Это было заметно даже в обиходе: всякая его шутка вызывала смех, каждая песня подхватывалась.

Дмитрий Андреевич понимал, что эта сила не была его личной силой. Это была, должно быть, воедино собранная сила всех людей, которые поставили его над собой и которыми он командовал.

Но с годами такое ощущение постепенно утрачивалось. Директорская работа что-то неуловимо меняла в характере Дмитрия Андреевича. В нём появилась крепость, непререкаемая уверенность, в отношениях к людям сквозила смесь властности и снисходительной доброты. Всё, что он ни делал теперь, казалось результатом его собственного ума и воли. Сознание этого последнее время постоянно жило в существе Дмитрия Андреевича, приносило спокойное удовлетворение и как бы требовало пищи, действия.

Поэтому ежедневные утренние наряды имели для него значение не только деловых совещаний, но ещё

были поводом для подсознательной демонстрации мощи характера и превосходства таланта.

На нарядах говорили кратко. Первым докладывал агроном Авдеев. Подходила пора копать свёклу, и надо было устраивать кухню и навес для столовой, чтобы кормить людей прямо в поле. Авдеев предлагал начинать работу на самом дальнем поливном загоне и там оборудовать кухню.

— Ещё какие мнения? — спросил директор. Никто не отозвался. Сухотин налил полстакана воды, медленно выпил и сказал:

— Это называется — надевать штаны через голову.

Все зашевелились, заскрипели стульями. Зоотехник Ершов засмеялся неумелым, хныкающим смехом. Авдеев покраснел и на лице его появилось выражение упрямства.

— На поливном загоне работы от силы на десять дней, — медленно и веско продолжал директор. — Что же, мы потом будем всю музыку назад перетаскивать?

— Да, но десять-то дней люди тоже должны как-то питаться! — сказал Авдеев оскорблённым тоном.

— На машине будем возить.

— Дороже встанет...

Сухотин повернулся к Авдееву всем крепким, плотным туловищем и как бы навалился на него словами:

— Ты на этом не экономь! Твоя агрономская экономия должна быть в урожае, а не в кухне. На людях экономить нельзя. Пора нам это взять в привычку. Я считаю, что кухню надо ставить у озера. Возражения?

— Правильно, — сказал зоотехник.

Авдеев молчал. Он ясно чувствовал противоречие в словах директора, но никак впопыхах не успевал его раскусить и осмыслить.

— С этим кончили, — заключил Сухотин. — Второе... — Он повернулся к зоотехнику. — Ты когда последний раз на свинарнике был?

— Сейчас оттуда, — с беспокойством округляя глаза, сказал Ершов.

— Почему свиньи кормушки грызут? — Зоотехник вскочил с места и зачем-то вытащил из кармана блокнот.

— Кормим по потребности... Вот, пожалуйста, рацион. Все корма идут через запарник. Так что...

— Вот если тебя кормить по потребности несолёнными щами, — перебил Сухотин, — ты через неделю тоже косяки грызть начнёшь. Даю гарантию.

Опять оживлённо заскрипели стулья.

— Почему минералки не дают?

— Давать-то, Дмитрий Андреич, как не дают... Дают... Но мало — это действительно. Фосфоритную муку нам в комьях поставили. Крепче булыжника. Свиноарии иной раз разбивать лентяся.

— Давай я тебе её трактором в пыль раздавлю, — подал голос Маклаков, главный механик совхоза.

Директор опять медленными глотками выпил воды, остатки вылил в кадку с пальмой и заговорил тихо, горестно-покаянным тоном:

— Стыдно нам должно быть, товарищи. Очень и очень стыдно выносить такие вопросы на совещание. Просто не к лицу. Не к чести специалистов. За такую работу нас кормить не надо, не только премии давать.

Получивший недавно премию Ершов стоял, опустив голову, и листал странички своего растрёпанного блокнота.

Наряд обычно продолжался не более получаса. Дмитрий Андреевич выслушал всех, кого считал нужным, ответил на бывшие у подчинённых вопросы и, как всегда в конце, стал подводить итоги.

И тут зазвонил телефон.

Он зазвонил раз, другой, третий, пока Дмитрий Андреевич, нахмурившись, не прервал речь и не взял трубку.

— Димок... — услышал он голос отца.

«Димок!» От непостижимо далёких лет детства тянулось за Дмитрием Андреевичем это имя. Так вслед за отцом когда-то звали его всё Кривогорье. Других — Петьками, Ваньками, а его — Димок, ласково, словно любимца. Когда стал директором, постепенно перешли на имя-отчество, хотя за глаза, он знал, звали по-прежнему. А отец — тот как будто и замечать ничего не хотел: и в глаза, и за глаза, наедине, при людях — всё Димок. Иногда это вызывало в Сухотине глухое раздражение — не мальчиш-

ка же он, в самом деле! — но прямо высказывать неудобство Андрею Андреичу он почему-то стеснялся.

Вот и сейчас Дмитрий Андреевич недовольно засопел, словно отец унижал его перед подчинёнными. Он затруднялся, какой выбрать тон разговора. Говорить породственному представлялось неприличным, неподходящим к месту, но и по-казённому нельзя же, в самом деле! Вот нашёл время звонить! Голос Сухотина сделался неопределённо-квёлым.

— Я слушаю... Ты мне, пожалуйста... Подожди... Ты мне, пожалуйста, позвони попозже... Что там случилось?... Сегодня я вряд ли сумею... Как?!. Ну, погоди, погоди... В больницу...

Сухотин замолчал, лицо у него стало мрачным и жёстким. Отец говорил такие несуразности, что шевельнулась невольно мысль: «В детство старик впадает». Он решил не перечить и молча слушал странные, до нелепости неестественные слова старика. «Должно быть, в самом деле плох... Гвозди... Какие, к чёрту, гвозди! Напустил на себя панику... Пришёл в сельсовет через всю деревню. На ногах ещё, значит, и умирать собрался! «Нынче помру...» Вот суматошный! Но съездить всё-таки надо. Кто знает...».

Смутная тревога, не спрашиваясь Дмитрия Андреевича, тяжело легла ему на душу, но он не поддался ей, деловито и по виду спокойно закончил наряд, приказал Авдееву:

— Ты сегодня за меня остаёшься. Я отлучусь. До вечера, возможно...

Все разошлись. Сухотин позвонил главврачу, попросил его выехать в Кривогорье, потом аккуратно собрал бумаги, запер ящики стола и, набросив на крупную, лысеющую со лба голову помятую соломенную шляпу, вышел на улицу.

Зелёная «Волга» с ясными бликами на только что вымытых боках стояла у крыльца. Шофёр сидел в машине и слушал радио.

— Сейчас вашу любимую передавали, — сказал он, улыбаясь Дмитрию Андреевичу. — «Вдоль да по речке...» Эх и отхватывали — хоть пляши.

Сухотин никак не отозвался. Грузно сел на сиденье, выключил приёмник и, крепко хлопнув дверцей, буркнул:

— В Кривогорье...

III

Стоял самый конец августа, но ни в чём ещё не чувствовалось предосенней грусти природы. Под лёгким утренним солнцем сверкала и томилась тяжёлая красота спелого лета. Лист на деревьях был ещё мясист и сочен, в придорожных кюветах, по обмезкам полей голубел цикорий, мелькали сиреневые кисти шалфея и плоские соцветия тысячелистника. И только однажды в тёмной зелени выступившего к дороге леса печальной свечой проплыла пожелтевшая до времени молодая осина и отозвалась в сердце невнятным предчувствием.

Странные отношения были у Дмитрия Андреевича с отцом. Смешно сказать, но Дмитрий Андреевич, крутой мужик, о которого немало в жизни поломалось рогов, в душе где-то побаивался старика и пасовал перед ним. Везде — в совхозе, в районе, в области даже — ощущал Сухотин свою основательность и силу, но стоило явиться в отчий дом, под спокойный, оценивающий взгляд отца, и он чувствовал себя как бы спешенным.

Во всякий приезд заставлял Дмитрий Андреевич старика за делом: то в палисаднике копается, то тешет что-нибудь в сарае на верстаке.

— Ага, — говорил Андрей Андреич, без всякой радости глядя на него из-под сивых бровей. — Здорово, Димок. Мне как раз плаху распилить не с кем, возьми-ка за ларем пилу.

Распиливали плаху, потом вертели в ней буравом дыры, потом надо было строгать доску — отец нарочно искал работу.

Сухотин-младший со злым визгом гонял по доске рубанок и, криво усмехаясь, говорил мысленно: «Ты думаешь, я работы боюсь? Отвык, думаешь? Гляди вот! Гляди! Гляди!»

— Ну, ладно теперь, — останавливал его Андрей Андреич. — Айда щи хлебать. Сноровка есть ещё в тебе. Из директоров потурят — прокормишься.

Дмитрий Андреевич посмеивался, но уязвлялся в душе.

Жил отец так, словно кто-то дал ему в этом мире неведомую власть и влияние. В Кривогорье даже нечто вроде пословицы бытовало — о всяком запутанном деле гово-

рили: «Тут надо Андрей Андреича звать». С малых лет чувствовал Сухотин гордость от сознания, что отец его не такой, как все люди, а крепче и своеобразнее. И отблеск отца падал и на него. Но, когда с годами сам утвердился на земле, вошёл в силу, он, боясь этого, с самолюбивой ревностью отмечал, что отец — единственный, над кем он не умел подняться душой, кто не замечал и не признавал его положения. Всегда поэтому в их отношениях было какое-то напряжение и противоборство.

В Кривогорье Дмитрий Андреевич приезжал не часто и почти никогда не беспокоился о здоровье отца: даже в этом старик был ровен и независим. И вот — на тебе: «Помру нынче...».

Сухотин вспомнил, что в голосе отца по телефону не было ни страха, ни волнения, но именно это и казалось ему теперь самым зловещим.

...Стремительно тёк под колёса металлический блеск асфальта. Дмитрий Андреевич сидел, выставив локоть наружу, с мрачной отрешённостью на грубом крестьянском лице. Шофёр, обиженный тем, как бесцеремонно выключил директор радио, тоже не заводил разговора. Один раз только сказал как бы сам для себя:

— Похоже, дождь находит...

Впереди, нежно и молодо синяя, отвесной стеной вставала туча. Её заворотившиеся назад края высоко блистали под солнцем. На чистой и яркой сини резко выделялась беззвучно играющая перед скорым отлётом стая грачей: то вытягивалась длинным крутящимся столбом, то завивалась в спираль, то делалась плотным, совершенно правильным шаром. И всё это молча, слаженно и тревожно...

Дождь был короткий, по-весеннему спорый и отчаянный. Тугие кручёные струи с треском лупили в асфальт, гремели по верху машины, быстрыми благодетельными потоками бежали по стёклам. А перед самым Кривогорьем опять широко и неудержимо накатила на мокрую землю солнечная волна. Открывшееся под горой село живо блестело мокрыми крышами, стёклами окон и зеленью садов. Но даже в самом этом равнодушном ликовании земли чудилась какая-то тревожная значительность.

Улицы села были безлюдны. Ещё издали увидел Дмитрий Андреевич возле дома отца чёрную толпу, и что-то оцепенело и напряглось в нём.

Люди, густо обступив крыльцо, стояли в одинаковых позах, с одинаково благообразно-скорбными лицами. Рядом с палисадником стреноженная, ещё мокрая от дождя лошадь, оскаливая жёлтые зубы, цепко, звучно хватала подъеденную до земли траву.

Когда Дмитрий Андреевич вышел из машины, все повернулись к нему со смешанным выражением сочувствия и любопытства, точно ждали, как он будет вести себя. В недоброй густой тишине торопливый, настоянный на слезе женский шёпот досказывал:

— Дай мне, грит, Катя, воды... Я гляжу, а у него уж пальцы с ногтей синеть начали. Так всё во мне и трепыхнулось.

Дмитрий Андреевич неприязненно посмотрел на народ и с решительностью человека, который всё сумеет исправить, пошёл в избу. В сенях встретил его главврач — плотный, румяный и, несмотря на профессиональную озабоченность, неприлично жизнерадостный. От него враждебно пахло больницей.

— Что тут? — требовательно спросил Сухотин. Врач взял Дмитрия Андреевича за локоть и доверительно, пониженным голосом заговорил:

— Нетранспортабелен... Нет никакого смысла брать в больницу. Я сделал укол, но дело совершенно ясное. Не понимаю, на чём он держится. В постель никак не хочет ложиться. Ждёт вас. Невероятный человек...

Дмитрий Андреевич бешено посмотрел на него и кинулся в комнату. Ему показалось, что не отец, а совсем чужой человек сидит в углу у стола, привалившись к подложенной под спину подушке. И в позе его, и в лице, изжелта-белом, ни к чему не причастном, была печать непоправимости. Сквозь сухую мёртвую белизну как бы неожиданно поредевшей бороды и усов сквозила кожа. Волосы на голове устало облегли крупный ухабистый череп и на них явственно обозначался след картуза. Одни только глубоко запавшие глаза смотрели со спокойной ясностью — жили.

Рядом, захватив рот концом платка, сгорбившаяся, маленькая, сидела мать. Она бросилась к сыну и беззвучно, сдерживаясь, заплакала.

— Ты, мать, выйди пока, — ослабевшим, но твёрдым голосом проговорил Андрей Андреич, — дай поговорить нам...

Как слепая, мать покорно вышла из комнаты.

— Видишь, помираю... — сказал сыну Андрей Андреич.

— Тятя! — давнее слово вырвалось у Дмитрия Андреевича. — Тятя... да что ты! Врач говорит...

— Брось... Я чую... Видно, срок пришёл... — Отец говорил трудно, останавливаясь дышать. — Ей не прикажешь... Не нами заведено... Теперь ты тут вместо меня остаёшься... За двоих живи... Кровь моя в тебе... Это правильно. Мне так легче... Я тобой радовался, Димок... Не говорил допрежь, а радовался... Ты высоко полетишь... Деда твоего в Нижних Лугах за революцию застрелили... В седьмом году... Я вот — худо ли, хорошо ли — все силы отдал... Корень свой не забывай... Смертным словом говорю... не забывай.

У Дмитрия Андреевича звенело в ушах и ломило за каменевшие в неподвижности брови. Казалось, навек пропавшие слёзы неодолимо и глухо закипали в нём.

— От людей не отчуждайся... Всё тебе люди дали... От них всё. Много хотел сказать... Не осилю... Мать жалей... Хоронить её будешь — от моей могилы отступи сажень... Время придёт — промеж нас лягешь... Куда бы ни уехал, а помирай здесь... Родная земля легче... Ну, вот... На могиле мне хрест поставь... Не для бога... Я не признаю... По старине поставь...

Отец дышал тяжело и прерывисто. Светлая испарина выступила на высоком морщинистом лбу...

— Обо мне не плачь... Я хорошо помираю... Давай с тобой выпьем... В шкапу бутылка — возьми... Не перечь, я знаю... Лей мне полный стакан... Себе теперь... Ну, живи тут... Пей...

Не чувствуя горечи, пополам со слезами выпил Дмитрий Андреевич водку. Отец только тронул стакан рукой.

— Теперь я лягу... Заведи мне ноги на лавку... Голову... выше... Мать зови...

Отец лежал на древней дубовой скамье, на которой любил отдыхать после работы и которую в своё время ни за что не соглашался выкинуть из избы. Он сложил на груди крупные, разбитые работой руки с большими, выпуклыми, как часовое стекло, ногтями — вытянувшийся, лёгкий, озарённый серебристым сиянием бороды.

Захрипели на стене ходики, выглянула кукушка и принялась куковать чистым, наивно-вопросительным кукованием.

— Мать... зови...

С тяжёлым от слёз лицом Дмитрий Андреевич вышел в сени.

И то, что он увидел, потрясло его.

Люди у крыльца плакали. Скорбно ссутулившись, по-русски прихватив рот концами платка, плакали женщины. Хмуро, сдержанно вытирали глаза мужчины.

Горькая, пронзительная радость разделённого горя охватила его. Горячо ударило в душу чувство благодарности и близости к этим людям, и он уже не удерживал и не стыдился слёз.

Горестно, страшно и молодо закричала в избе мать. Кто-то просто сказал:

— Умер...

...Дмитрий Андреевич долго стоял возле отца, потом, протиснувшись сквозь наполнивший избу народ, вышел на улицу и прошёл к старому, тяжело осевшему на один бок плетнёвому сеновалу.

В молодости, возвратясь с улицы на самом рассвете, любил он спать на сеновале. Сюда же приходил, когда одолевали душевные горести и невзгоды. И всегда спокойные, тихие запахи высохших трав утоляли боли, облегчали сердце.

Он ничком упал на свежее, мягко принявшее его сено.

Я люблю вас, Колька!

Тихо, точно на кошачьих лапах, подкралась ночь. Две утки, держась друг за другом и напряжённо вытянув шеи, опрометью пронеслись домой по ещё алеющему на закате небу. Мучивший днём зной до сих пор напоминал о себе сухими тёплыми волнами. Вода в речке стала непроницаемо-чёрной, и только иногда, нехотя всколыхнувшись от рыбьего всплеска, выдавала она свою серебряную сущность. Травы волгли, запахи настаивались и густели. Вся земля, казалось, сладко пила помолодевший воздух.

— Э-эй! — послышался сверху мальчишеский звонкий и, как мне показалось, какой-то праздничный голос. — Там человек, что ли?

Я поднял голову. Высокий, тонкий, весь обданный лунным светом (под берегом я и не заметил, как взошла луна), чернел наверху силуэт мальчишки.

— Человек!

Мальчишка засмеялся, легко прыгнул с обрывчика и, шурша осыпающейся глиной, спустился ко мне.

— А я смотрю: то ли человек, то ли пенёк какой, — произнёс он своим удивительным голосом.

Я не обиделся. Парень присел и, явно ища во мне собеседника, спросил после недолгого молчания:

— На что ловите?

Я нехотя отвлёкся от своего рыбацко-меланхолического настроения:

— На червя.

— Хе-е! Так вам и клюнуло! — В голосе парнишки опять плеснулась замеченная мною трепетная радость. — Ночью на червя — только время терять. Сейчас пшеничка распаренная — самое верное дело. Попробуйте-ка. Она в темноте видная. Голавли за ней в драку лезут.

— Надо попробовать...

Мы помолчали. Козодой, гоняясь за невидимыми мошками, чертил над рекой свои синусоиды. В воде отражались живые, тёплые, шевелящиеся звёзды.

— Закурить у вас не найдётся? — спросил хлопец.

— А не рано ли тебе?

Он, должно быть, смутившись, задержался с ответом, потом вздохнул:

— Я не курю вообще-то, да тут дело такое — впору закуривай.

— Что так?

Парень взял протянутую папиросу, но не прикурил, а, с тихим шелестом разминая её в пальцах, сказал вдруг:

— Влюбился я!

У меня от непонятого волнения дрогнула потянувшаяся было к удилице рука и я не совсем к месту спросил:

— Разве?

— Настроение такое, что и признаться не совестно. Была не была! Вторую ночь не сплю...— Он тщетно старался удержать в себе бьющееся в нём волнение. — Так и хожу, как шальной. Смешно прямо!

Я не нашёлся, как поддержать этот разговор, и чувствовал себя не очень удобно. Но ему, видно, было достаточно и молчаливого внимания.

— И, знаете, просто чудо какое-то: никак я сейчас её лица представить не могу. Всех девчат представляю, а её — нет. Не могу, и всё. А ведь сколько лет её знаю! Слово растворилась она во мне. Пропала.

Он помолчал, а потом повторил изумлённо-восторженно:

— Чудо какое-то! Как вы думаете, это пройдёт?

— Не могу сказать, — степенно и несколько не в тон ему ответил я. — Со мной этого не случалось, но надо полагать, что пройдёт.

Мальчишка провёл рукой по груди:

— Словно огонь какой во мне!

Звезда сорвалась с тёмного неба и долго падала по широкой сияющей дуге. В камышах звучно, словно веслом ударили, плеснулась рыба, и через минуту у берега зацокали маленькие серебряные волны.

— Как её зовут?

— Оля, — встрепенулся мальчишка и задумчиво протянул: — О-ольга. Правда, хорошее имя?

— Правда, — согласился я, — старинное, русское.

— Её в эту зиму три раза сватать приезжали.

— Красивая, видно, девушка.

— В чём всё и дело, — вздохнул он, — красивая, к сожалению.

— Вот тебе на! Почему это вдруг — «к сожалению»?

Вышедшая из-за берега луна насквозь, как дым, просвечивала пышные волосы парня и любовно освещала его лицо, плечи и лежащие на коленях руки. Он тряхнул головой:

— Не пара она мне.

Я с интересом уставился на белеющее лицо собеседника.

— Чем же не пара?

Он смотрел на тёмную искрящуюся воду и молчал. Где-то на другом берегу иступлённо заверещал коростель, а потом, успокоившись, зацyrкал грустно и монотонно.

— Не приспособленный я для любви человек, — говорил наконец парень серьёзно. — Только вот хожу да вздыхаю. Нет во мне, как в других, смелости да ловкости, чтобы подойти к девушке. А уж к ней — тем более. И внешне я не вышел. Ночью если поглядеть, ещё ничего, а днём — одни веснушки. Уши, и те будто мухами засижены. Волосы рыжие, ресницы белёсые. Разве такие кавалеры бывают? — Он усмехнулся. — Правда, одна слава за мной водится: гармонист я. Один на всю деревню. Как говорится, первый парень. Смеху не оберёшься. Мать говорит, что в мои-то годы ещё рано бегать вечерами в клуб, только от девчат каждый вечер делегация к ней приходит меня выпрашивать. Как маленького. А мне уж шестнадцатый этой весной пошёл.

Он бросил растёрзанную папиросу в воду и откинулся назад, опершись на локти.

Я позабыл про насадку, про удочку и слушал, не перебивая, этот удивительный, грустный и радостный рассказ открывшегося мне человека. Парень то умолкал, то гово-

рил горячо, торопливо, то, остановившись, тихо подсмеивался над самим собой.

— Я и сам не заметил, каким образом ко мне эта мука пришла. Хожу, работаю — вроде ничего, а потом вдруг за сердце словно кто рукой схватит да как сдавит до боли. Ночью проснусь, а сердце колотится — гулко, неистово: опять, значит, про неё вспомнило. Тут уж подушку в сторону: не уснёшь до утра. Маялся я так, маялся, зло меня взяло. Сколько, думаю, можно терпеть! Другие ребята с девушками гуляют вечерами. Чем я хуже их? И пришла мне в голову мысль проводить её из клуба домой. Пошёл я её провожать. Комедия получилась сплошная! Ночи сейчас сами знаете какие: душу просвечивают. От луны белым-бело на улице. Как увидели, что мы с ней идём, аж все рты ладонями позажимали, чтобы не рассмеяться. А со стороны-то, видно, и впрямь смешно: Оля идёт впереди — тук-тук каблучками, будто и не замечает меня. Я сзади плетусь. Так прошли мы с ней всей деревней. Она только около самого дома и обернулась: «Тебе чего, Коленька?». Я остановился, смешался вконец, насупился и хрипло процедил: «Проводить хочу».

У неё даже губы запрыгали от сдерживаемой усмешки. «Ох, — говорит, — ухажёр ты мой маленький, а чего же мы с тобой делать-то будем?» Мне — хоть стой, хоть падай, язык к нёбу прилип. «Не знаю, мол, чего делать, посидели бы, поговорили».

Сейчас даже вспомнить стыдно. Подошла она ко мне, за подбородок взяла, как ребёнка, и с мягкой такой усмешкой сказала: «А может, ты и целоваться со мной хочешь, а? Ну, говори, хочешь?». У меня в глазах словно искры высекали: слёзы навернулись. «Дура! — закричал я ей и, подхватив гармонь, бросился бежать. Бегу и, оглядываясь, кричу сквозь слёзы: — Дура! Дура! Дура!» А она вслед мне смеётся. Негромко, словно задумчиво. Так вот из моего провожания ничего и не вышло.

Он умолк, видимо, не намереваясь больше продолжать. Я протянул ему папиросу:

— Закуришь?

— Нет, спасибо. Это я так, от нечего делать тогда попросил. Просто сам не знаю, чего мне хочется.

Неизвестно откуда взявшееся маленькое облако стремительно налетело на луну и сразу, будто остановившись, засветилось мягким матовым светом. Нас одело тенью. Мне передалось грустно-светлое Колино настроение. Было немножко жаль этого охваченного первой любовью мальчика, живущего наедине со своим бьющимся чувством.

Коля заложил руки за голову, лёг навзничь и стал смотреть в высокое, отягощённое звёздами небо. Я вытащил из воды свои заснувшие удочки и начал сматывать мокрые тёплые лески.

— Вы домой? — спросил он.

— Да уж пора.

Он повернул ко мне свою светлую голову:

— Погодите немного.

Я положил удочки.

— Знаете, ведь она сегодня меня поцеловала!

— Что ты говоришь! — обрадованно воскликнул я. —

Почему же ты об этом сразу-то не сказал?

— Я в это ещё и сам не верю, — произнёс он задумчиво. — Всё так неожиданно. Впрочем, пойдёмте домой, я вам расскажу по пути.

Он поднялся и мы пошли вдоль берега.

Набравшийся ночной прохлады воздух уже сгущал тёплые речные испарения в редкий белёсый туман, который, поднимаясь с середины реки, заваливал вправо, к пологому низкому берегу. Был самый разгар зелёного лунного безмолвия.

— Вам не надоело меня слушать? — спросил Коля.

Я поспешил его разуверить.

— Ну так я до конца расскажу. Странно, конечно, изливаться незнакомому человеку, но у меня уж этих волнений душа не удерживает.

Он помолчал, собираясь с мыслями, и начал, как мне показалось, совершенно с другого.

— Я на комбайне штурвальным работаю. Время сейчас, сами знаете, горячее, вроде бы и некогда о любви думать. Стоишь в жаре, в пыли, в грохоте — только поворачиваться успевай, и всё равно она у меня из головы не идёт. Да и вижу её часто. Приезжает она на машине зерно отгружать. Вскочит в кузов с лопатой, от улыбки вся

светится. «Давай, — кричит, — чего возитесь?» Я на неё глаз поднять не смею, молча взлечу на комбайн и включаю шнек. Как на неё целая хлебная река хлынет! Она со смехом отпрянет из-под шнека и грозит лопатой: «Ишь, рыжий, озорник какой стал, засыпать хочет».

А этот озорник слова не может сказать ей от робости.

Так вот и работаем. Комбайн у нас старенький, народ молодой, сам комбайнёр Миша Осипов первый год за штурвалом. Но ничего, не жалуемся, не от всякого нового отстаём. Только вот недавно случилась у нас неполадка. С неё и началось всё. Перевели нас на шестое поле, там пшеница уродилась неурезная, лафеты заваливало. Подбирать такой хлеб большая сноровка нужна. Валки широкие, толстые. Метнёт такой валок подборщиком на хедер, а он шире полотна, нагрудится там, потом как ахнет в приёмную камеру — барабан и поперхнулся. Тут уж сразу выключай молотилку, не то цепи полетят. Открываем люк, а солома в барабане так закрутится, так спрессуется, что приходится её по былинке вытаскивать. Расчистим барабан, тронемся — опять та же история. Измотались мы, изнервничались. Миша злой ходит. Мучались, мучались, хоть работу бросай. Мне тогда и подумалось: если бы подборщику обороты увеличить, валок бы ровнее пошёл, не стал бы на полотне задерживаться и барабану бы легче было справиться. Вам на комбайне не приходилось работать? — спросил меня Колька. — Вы понимаете, о чём я говорю?

— Не приходилось, но приблизительно представляю.

— Так вот, забило у нас в следующий раз барабан, Миша от злости аж ключ швырнул об землю. Я ему говорю: «Давай на подборщике передачу увеличим, поставим промежуточную звёздочку побольше». Он на меня так зло посмотрел: «Иди, слышь, поучись сначала в школе механизаторов, а мне и без твоих глупых предложений тошно».

Я тогда промолчал, но очень обиделся. Объяснил бы хоть, думаю, что здесь глупого. Дальше — больше: стала меня эта мысль точить. Прав я себе кажусь, и всё! Неужели, думаю, Миша только из-за упрямства не хочет меня слушать?

В следующий раз так застопорило, что не только цепь, а и сама звёздочка лопнула, прямо на всём ходу. Тут мы с Мишей и поругались.

«Если, — говорю, — не согласишься менять передачу, председателю колхоза пожалуюсь или в газету напишу. Ты, мол, новое зажимаешь». Он раскипятился: «Никогда не сменю!». Тут со мной случилось что-то непонятное. Сжал я кулаки и на него кинулся.

А к нам как раз машины за зерном приехали и Оля там. Разнимать нас кинулись. Миша кричит: «Уходи, к чёртовой матери, с комбайна!». Я немного поостыл. «Завтра уйду, а сегодня ты один, что ли, в барабане копаться будешь? Дотерпи уж до вечера».

Полезли опять в приёмную камеру, расчистили, да что толку-то: метров через сто захлебнулись. Тогда решил я переломить себя. Взял Мишу за пуговицу: извини меня, напрасно я на тебя накричал, но только давай хоть на пять минут передачу сменю. Вдруг хорошо получится? Он хмуро на меня глянул: «Надо бы, — говорит, — с бригадиром посоветоваться». «Ура! — думаю, — наша берёт». Пригласили бригадира, изложили суть дела. Он подумал немного и говорит: «Кажется, дело придумали. Меняйте звёздочку, только цепь надставьте. Я вам с других агрегатов людей подошлю — посмотреть, что получится».

Переоборудовали мы комбайн, Миша за штурвал сел, я пальцы от волнения кусаю: вдруг провалится всё! Народ вокруг нас столпился. Включили молотилку. Подборщик так закрутился, что весь комбайн застонал.

Ключуло подборщиком валок, легко так подняло и в барабан понесло. Машина сразу перешла на спокойный, уверенный гул. Я показываю Мише два пальца: давай вторую скорость. Пошли на второй. Поверить глазам боимся. Валок прямо сам с земли прыгает и летит в барабан, не касаясь полотна.

«Прямо рационализаторы!» — кричат нам.

Объехали мы поле — хоть бы раз заело! Остановились, нас качать бросились. Мы хохочем от радости, обнимаемся, и Оля с машины спрыгнула, подбежала ко мне, цап меня за уши и поцеловала. У меня аж круги перед глазами пошли. И больше ничего не помню. Помню толь-

ко, что всё лицо горело, а у неё губы свежие, охлаждающие вроде. Все смеются, в ладоши хлопают. А девчата запели: «Я люблю вас, я люблю вас, Колька!». Опера есть такая классическая.

Колька помолчал немного, потом спросил:

— Дайте же закурить! — Неумело затянулся, закашлялся. — Вот хожу теперь и думаю: всерьёз она это сделала или пошутила?

— Разумеется, всерьёз, — сказал я уверенно.

Коля отвернулся и сказал взволнованно:

— Смотрите, как звёзды падают!

В кабинете с зелёными шторами...

I

Тихон Лукич Кузьмичёв работал на конном дворе ночным сторожем. Работа нетяжёлая, спокойная и неудобство в ней было только одно: случись неудача или неприятность, Тихон Лукич переживал острее других, потому что по ночам бодрствовал и поневоле думами растравлял рану. Например, вчерашнюю ночь Кузьмичёв ни на минуту не завёл глаз, молча, как каменный, просидел до утра на куче сухого слежавшегося сена, иногда только вздыхал, беззвучно шевелил губами и крепко стучал о коленку большим тёмным пальцем: мол, я этого дела так не оставляю.

Утром он пришёл с работы мрачный, повесил в сенях закоптелый фонарь, бросил в угол тулуп и, не обменяв валенок, прошёл в переднюю избу. Обычно Авдотья Ивановна поднимала в таких случаях целый скандал, но сегодня смолчала. За долгую жизнь старуха научилась понимать мужа с одного взгляда и потому сейчас сделала вид, что не обращает внимания на вызывающее поведение Тихона Лукича.

Кузьмичёв хмуро смотрел через открытую дверь на сгорбленную фигуру жены.

— Дров-то поменьше в печь толкай, — прицепился он к Авдотье Ивановне. — А то март на дворе, а она уж чуть не всю поленицу съела.

— Хлебы у меня нынче, — поджимая тонкие губы, ответила жена, — под надо выкалывать. А ты бы, прости господи, не во всякое бабье дело лез, — прибавила, невольно понижая голос. — Не знают, гляди, с твоё-то.

— Много вы знаете, — чуть не обрадованно закричал Кузьмичёв. — С детства смышлёны! А не знаете, какие по деревне разговоры идут? Хоть из колхоза беги! И всё

через тебя, потатчицу, через тебя! Не углядела вовремя, теперь будешь всю жизнь гореть от стыда.

— Ты уж съесть меня готов, — повернувшись от печки, сказала старуха, — каждое утро будто лев рычишь. А помнишь тогда, выпимши, что ты говорил про Сергея-то Львовича? «Лучшего зятя нам, старуха, и не надо». У меня сердце материно... Радовалась я, думала, любовь между ними.

Авдотья Ивановна медленно понесла к глазам конец платка.

— Любовь, — гнусаво передразнил её Тихон Лукич. — А о том подумала, что молода она ещё до света гулять? Пока он тут жил, будних дней не знала, не успевала платья менять. Жди вот: родит молодца без отца — сиди, нянчи.

— Ну так что же, — сдерживая слёзы, подтвердившим голосом сказала старуха, — в прорубь теперь кидаться? Родит — вырастим не хуже людей. Бубнит и бубнит, ровно тетерев. С ног-то бы обмёл лучше, залез в передний угол...

Но Кузьмичёв так круто поглядел на жену исподлобья, что она только махнула рукой и вышла из избы.

Тяжёлые мысли поплыли опять на Тихона Лукича. Пуше глаза берёт и нежил он свою последнюю дочь Ленку. Два старших сына — красавцы и здоровяки — ушли вместе с ним на войну в сорок первом да оба положили головы где-то в чужих землях.

А он вернулся целый и невредимый. Прошёл всей улицей размашистым солдатским шагом, обнял у крыльца голосающую и с радости, и с горя жену, и сам вдруг тяжело заплакал, прислонив к резному столбушку поседелую голову. Плакал и гладил шершавой ладонью волосёнки прильнувшей к коленям дочери.

Одно утешенье осталось — Ленка. Росла ласковая, весёлая. Училась хорошо. После семилетки техникум кончила, стала в колхозе фермой заправлять. Отдать бы её теперь за хорошего человека да внучат пестовать честь по чести. Так нет же, надо было этому хлюсту заявиться в деревню. Тихон Лукич вспоминает высокого, белозубого, ловкого парня и, тяжело задышав, расстёгивает воротник рубашки. Кожей обшит человек, что у него внутри, поди узнай сразу-то.

Впервые соседка Кирильевна сообщила ему:

— Лукич, а твоя-то дочь, слышь, с инженером гуляет, правда, что ли?

— Бреши! — отрезал Кузьмичёв.

А через день Лена привела Сергея домой. Парень оказался весёлым, говорил свободно, без смущения, много смеялся. Когда сели пить чай, он вопросительно посмотрел на Тихона Лукича и вытащил бутылку коньяку. За чаем стали говорить о политике. Сергей Тихона Лукича слушал уважительно, не перебивал, а когда говорил сам, выходило очень умно и значительно. На коньяк не нажимал, чем очень угодил Авдотье Ивановне. Тихону Лукичу гость тоже понравился — то ли коньяком старого дурака разобрало?

Злость сейчас душит при воспоминании, как он проводил инженера до самой калитки и чуть ли не с подобострастием пригласил: ещё захаживайте!

Сергей прожил в деревне недели три, бывал у них почти каждый день и настолько вошёл в их старикиевские интересы, что в избе только и разговору было, что о нём.

В деревне судачили: на мази дело! Быть на октябрьскую свадьбе.

И Тихон Лукич (правду говорит старуха!) брякнул однажды ей под хмельком:

— Парень-то, кажись, славный. Хоть бы и в зятя — лучше не надо...

А Ленка словно расцвела вся, так и светилась. Идёт — будто на крыльях летит. И конфузливой сделалась: скажешь ей какое слово — краской зальётся, аж слёзы на глазах заблещут.

Когда Сергей уехал, Кузьмичёва часто спрашивали:

— Скоро зятёк-то приедет?

Он весело отшучивался:

— А мне что за дело! Сам я, слава богу, женат, а молодёжь пусть, как знает, так и устраивается.

Потом вопросы прекратились и Тихон Лукич неожиданно для самого себя забеспокоился. За обедом спросил у дочери:

— Он тебе письма-то шлёт?

Лена не донесла ложки до рта, тихо покачала головой и вдруг заплакала, обхватив мать руками. А потом он узнал и остальное...

Больно закипала и жгла душу Тихону Лукичу обида, стыдно было вспоминать не ехидные, а хуже того — участливые взгляды и разговоры соседей, стараться не замечать тайных Ленкиных слёз. Но больше всего бесил Кузьмичёва собственный нрав: постоянно хотелось сорвать на ком-нибудь зло, сделался придирчив, попусту затевал ссоры, а потом тяжело переживал, раскаивался.

«Как же мы тебя, хлюста, не разглядели? — думал старик. — Был бы ты сейчас здесь, я бы с тобой поговорил по-мужски. Такое бы сказал, что ты бы чихать смешался!»

В комнату вошла Авдотья Ивановна.

— Лукич! — позвала она.

Старик вздрогнул, повернулся к ней и, помолчав, сказал:

— В город я, мать, поеду.

— Батюшки, чай, не к нему?

— А то к кому же...

— Да неужто у нас стыд весь вышел, что мы за ним гоняться будем? Или дочь у нас — в поле обсевок? Изю всей деревни девка. Или мы его уговаривать должны?

— Не уговаривать, — хмуро сказал Тихон Лукич. — В морду я ему плюну.

Никакие уговоры не подействовали на Тихона Лукича — ни причитания Авдотьи Ивановны, ни слёзы дочери, в ужасе повисшей у него на плече. Он отпросился у бригадира, продал соседу овцу, которую тот давно торговал у него, надел праздничный пиджак, чёсанки с новыми калошами и поехал в город.

Городская толчея всегда действовала на Кузьмичёва раздражающе. Но на этот раз он не замечал ни трамвайной давки, ни суетливого многолюдия улиц. Поначалу он даже и не думал, как будет искать Сергея, — просто ехал, шёл, пока не очутился в центре города. Можно было, конечно, обратиться куда следует, там бы сказали и улицу, и номер дома, но Тихон Лукич как-то и не подумал об этом. Старик долго размышлял на перекрёстке, в какую сторону ему податься, а потом решил ехать прямо на завод.

II

Главного инженера Сергея Львовича Лачугина любили на заводе. Приятно видеть на ответственной должности не по чину молодого (стало быть, талантливого), свежего, ещё не обмявшего в профессиональной толкучке человека. Ещё приятнее с таким человеком работать. Поэтому у всех, от директора до вахтёра, к Лачугину было то тёплое, снисходительно-любовное отношение, какое имеют в семье к младшему сыну-баловню, умиляющему всех ранними способностями. Лачугин чувствовал всеобщее расположение, и ему хорошо и радостно было это сознавать. С работой он справлялся прекрасно. Он ещё только начинал работать, каждый успех переживался им как праздник, как доказательство его сил. И эта влюбленность, и увлечённость работой, и сама молодость Лачугина складывались в одно, никогда не покидающее его ощущение, которое он мысленно называл счастьем.

Сегодня, когда он проходил по цеху, его позвали к телефону:

— Сергей Львович, вам из проходной звонят, кому-то вы там понадобились.

Лачугин, вытирая руки засаленной ветошью, подошёл неторопливо, взял трубку, прижал её к уху плечом.

— Да... — Потом он захохотал. — Кто, говорите, ищет? Вот как! — Он продолжал смеяться. — А не тёща?

Люди, стоящие вокруг телефона, улыбались: видно, главный инженер ведёт с кем-то весёлый разговор. Лачугин спросил, всё ещё смешливо похмыкивая:

— Ну, ладно, без шуток, кто там спрашивает? Что за теща? Из главка, что ли? Откуда, откуда? Из... из Незнамовки?

Лицо у главного инженера стало растерянным и красным. Он бросил ветошь под ноги, взял трубку в руки.

— Алло! Да-да! Я слушаю, конечно... Он в проходной сейчас? Одну минутку...

На лбу Лачугина выступили мелкие капельки испарины. Он полез в карман за платком, но ему подвернулись спички и он несколько раз провел по лбу корбком.

— Елена Васильевна, — закричал в трубку, изо всех сил удерживая в голосе бодрые ноты, — здесь, в цехе, шумно очень, я позвоню сейчас из кабинета.

И, не слушая, что ему ответит вахтёрша, торопливо положил трубку. В каждую клетку тела входила противная слабость. Все предметы потеряли для него свой обычный приветливый смысл. Лачугину даже показалось, что его поташнивает. Раньше ему никогда не доводилось испытывать такого отвратительного панического страха. Словно до сих пор он легко, играючи взбирался на гору и вдруг камни поехали под ногами.

— Никого ко мне пока, — предупредил он секретаршу, проходя через приёмную.

В кабинете ему будто полегчало. Лачугин уселся за свой знакомый полированный стол, сжал голову ладонями и стал размышлять.

— Вот это подзалетел, — произнёс он, с невольным удивлением прислушиваясь к своему неуверенному голосу, — вот это влип... Дурацкая ситуация...

Лачугин прикусил губу и страдальчески сморщил лицо. Что же теперь делать? Ведь придётся вступать в объяснения, изворачиваться. Противнее всего, конечно, врать. Это вызывало у Сергея тоскливое ощущение брезгливости. Он привык к порядочности, как к свежим рубашкам, к чистым носкам, как к стрелкам на брюках. Словно запах дорогих духов, исходило от него обаяние искренности, весёлого простосердечия и светлой юношеской наивности. А сейчас всё это душевное изящество должно было исчезнуть, замениться какой-то пугающей грубой первобытностью, постыдной оголённостью. Ну, чёрт возьми, положение!

«Стой! — сказал вдруг сам себе Лачугин. — А может быть, он приехал просто так, ну, просто в гости? Приехал в город и решил зайти к знакомому человеку, что здесь особенного? Неужели она меня разыскивать пошлёт? Не такая вроде бы...»

Сергей вскочил на ноги и в волнении заходил по кабинету. Что-то вроде облегчительной теплоты почувствовал он от этих мыслей.

«Ещё, наверное, каких-нибудь пирогов с грибами

привёз. Фу ты, чёрт, ну и переполошился же я! — уже почти весело подумал Лачугин. — В другой раз надо быть выдержаннее, а то наделаешь глупостей. В цехе, кажется, заметили».

Он стал думать, что ему делать с Тихоном Лукичом. «Приглашу его прямо сюда, не домой же вести. Выпьем чайку. Мне это будет извинительно, у меня, слава богу, дел по горло».

Лачугин посидел ещё немного, покурил и настолько успокоился, что даже полистал кое-какие дела, потом попросил секретаршу приготовить пропуск для Кузьмичёва и проводить к нему в кабинет.

— Пусть здесь подождёт, я во второй цех схожу минут на двадцать.

В цехе Лачугину опять стало плохо. Его не успокаивали ни приветливые улыбки рабочих, ни собственные деловитые распоряжения. Теперь ему было стыдно не за минутный страх и смятение, охватившие его поначалу, а за ту радость, которую он почувствовал, решив, что опасения напрасны.

«Чёрт возьми, — думалось ему, — неужели я — подонок! Но ведь до сих пор казалось, что у меня за душой нет ничего такого, что мешало бы чувствовать себя честным и благородным. Чего же я заметался, как заяц на огороде? Сначала испугался чуть не до щенячьего визга, а потом подумал о пирогах с грибами и обрадовался, как кретин. Ведь получается, что в моём характере целые пропасти, которых никто не замечает. А если заметят, если обнаружат, что я не тот, за кого меня принимают? Как же я тогда? Ведь не только презрения или ненависти — простого равнодушия к себе я не перенесу... К чему тогда мои победы, удачи?»

Сергей вышел из цеха, походил по двору, свернул в маленький заводской скверик и сел на заваленную снегом скамейку. Словно ребёнок, не знающий цены сокровищу, март раскидывал солнце. Горели и слепили глаза сугробы, сверкали ледяные потёки на коре деревьев, огнисто сияли провода и изоляторы на столбах, даже клювы воробьёв, скачущих там и сям по сучьям, время от времени посвечивали золотом.

«Кажется, палец бы себе дал отрубить, — думал он, — только бы всё это кончилось благополучно, как-нибудь забылось, улеглось, а уж потом бы я знал, как жить дальше...»

Лачугин вспомнил свою последнюю встречу с Леной. Пока он жил в Незнамовке, Лена всё время приходила к нему принаряженная, а в этот раз прибежала провожать его прямо с работы, в выгоревшей косынке, в плотно облегавшем её стареньком ватнике, в тусклых резиновых сапожках. И у Сергея появилось какое-то щемящее чувство жалости. А вот стыда не чувствовал. Напротив, что-то горделивое рождали в нём тихие слова Лены:

— Ты меня позабудешь, Серёжа. У тебя, наверное, много девушек. Вон ты какой умный, красивый. А чем я могу удержать тебя: нет у меня ни блеска, ни талантов. Вот уедешь и будешь смеяться, какая я доверчивая деревенская дурочка.

И Сергей тогда не возмутился, не отругал Лену, чтобы не говорила глупостей, а, поглаживая её по плечу, произнёс снисходительно, вяло:

— Ну с чего ты это взяла? Разве во мне есть что-нибудь донжуанское?

А Лена ещё сказала тогда:

— Да это я так просто, ты уж прости меня.

Он не дал ей адреса, пообещав, что напишет первый, и в городе действительно несколько раз садился за письмо, но, написав несколько малозначащих фраз, откидывался на спинку стула и закрывал глаза. О чём писать? Какими словами? Ничего же не осталось в душе. Но сладкое сознание силы мужского обаяния, которое вот так, без особых стараний с его стороны, может затянуть девушку, было приятно.

Как это ни странно и ни стыдно сейчас, но Сергей всё это время по-своему наслаждался любовью Лены, даже и не любовью, а вот этой возможностью только поманить пальчиком — и она, Лена, бросит всё, чем жила раньше, побежит за ним, Сергеем Лачугиным, хоть на край света.

Когда Сергея спрашивали, почему он до сих пор не женится, он говорил:

— Да так, не нашел ещё ничего настоящего.

Его приятель сказал однажды, между двумя анекдотами:

— Смотри, детка, прокидаешься!

После таких слов у Лачугина тогда на весь вечер испортилось настроение. Может быть, Лена и есть то «настоящее», что ему нужно? Но на другой день эти мысли развеялись. «Всё ещё впереди, — подумал он, — много ещё впереди у меня будет хорошего».

...Воробы, свыкшись с неподвижностью Лачугина, сновали у самых его ног и, когда он поднялся, с шумом перелетели на другое место.

— Баста! — сказал вслух Сергей. — С завтрашнего дня начну всё сначала. С самого начала...

В приёмную Сергей вошёл со своей всегдашней уверенностью. Не хотелось, чтобы секретарша видела, как его волнует и беспокоит встреча с Тихоном Лукичом. Он на минуту остановился, как бы в рассеянности, приставил палец ко лбу, словно вспоминал: чего, бишь, я ещё хотел сделать? И произнёс:

— Ах да, меня в кабинете ждут!

Секретарша ласково кивнула ему головой и Сергей, внутренне стора и ненавидя себя за фальшь, вошёл в кабинет.

Как внутренне ни готовил себя Сергей, но слова обращения к Кузьмичёву прозвучали неестественно, как-то полувопросительно:

— Здравствуйте, Тихон Лукич...

Старик в полушубке и чёсанках тяжело сидел на стуле, чуть наклонившись вперёд.

Он хотел подать Тихону Лукичу руку, но побоялся, что тот не примет её, и не подал, прошёл, сел за стол, всеми силами удерживая на лице мучительную улыбку.

— У меня, Тихон Лукич, сегодня неудача за неудачей, — торопливо, с постыдной развязностью заговорил он, — то мастер с утра заболел, заменить нечем, то авария как снег на голову. Новую установку, понимаете, получили. Только успели под напряжение поставить — одна секция ба-бах! — чуть на воздух не взлетела. Верчусь целый день, присесть некогда. — Лачугин выдвинул оба ящика стола и стал рыться то в одном, то в другом, чтобы

не смотреть на Тихона Лукича. «Какой ужас, — думалось ему, — зачем я несу всю эту околесицу, ведь он же меня насквозь видит». И всё-таки продолжал, стараясь, как бездну камешками, закидать повисшую в кабинете тишину: — А тут ещё эти собрания, заседания. На той неделе комсомольцы в самодеятельность затащили. Хор мужской сколачивают. У меня и голоса-то особенного нет. Но уж раз попался — хочешь не хочешь, а рот разевай. Неудобно отказываться.

— Да, — сочувственно проговорил Кузьмичёв, — трудно тебе живётся!

Сергея больно ударила ирония этих слов, он ясно понял, что никакой надежды на простой обмен новостями нет, что разговор будет сложным и мучительным, и отчаянно старался как-то оттянуть, отодвинуть его. Он принялся рассказывать о своей работе, о хорошей погоде, о том, как он недавно в командировку ездил да как там ночевать пришлось в захудалой гостинице, положили, знаете, чуть не в коридоре, да это бы ещё ничего, если бы не клопы...

Рассказывая всё это, Сергей не знал, куда ему девать глаза. Он то двигал взад-вперёд по столу чернильный прибор, то нервно дотрагивался пальцами до телефона, то опять бесцельно выдвигал ящики стола.

— А что же ты, Сергей Львович, всё про себя разговариваешь? — с нарочитой громкостью перебил его вдруг старик. — Ты бы хоть спросил, как в деревне Незнамовке дела идут. Всё же там тебе не все люди чужие? Или уж интерес пропал?

— И в самом деле, — с вынужденным смехом проговорил Лачугин, — заболтался я о своих делах. Что там у вас в селе нового? Вы, наверное, по-прежнему коней стережёте? Или уже, так сказать, в отставку? А... Лена как?

— То-то — «как»? — Кузьмичёв недобро глядел на Сергея. — Рассказываешь мне про хор да про клопов — стыд ладошкой прикрываешь. Тут другой разговор есть.

Лачугин поднялся из-за стола, прошёл до двери своей слегка расхлябанной походкой, которая так импонирует в большом начальнике, и сказал в приёмную:

— Ко мне — ни под каким видом!

От стыда и позора у него звенело в ушах, собственный голос слышался странно, будто со стороны.

— А чего-то ты оробел, парень, — с обидной простотой промолвил Тихон Лукич, — с лица даже сменился. И прыть у тебя пропала.

Лицо Лачугина затопило румянцем. Он сел за стол, наклонил голову и несколько мгновений подавленно молчал.

— Давайте по-мужски рассуждать, Тихон Лукич, — заговорил он расслабленным голосом. — Не будем заниматься иносказаниями. Напрасно вы думаете, что я чего-то боюсь. Дело не в этом. Я сейчас объясню. Вам Лена, вероятно, рассказывала о наших отношениях. Так вот... собственно, добавить мне нечего. В жизни всё не так просто. Я понимаю ваши чувства. Прошу понять меня. Оправдывать себя не собираюсь, но поверьте, Тихон Лукич, за это время я многое передумал, перемучился. Мне тоже было нелегко. Я страдал морально.

— Мара-а-а-ально! — подымая брови и яростно выкатывая глаза, закричал Кузьмичёв. — Спасибо на этом! Ты бы по-настоящему пострадал, а не марально! Всю жизнь девке испортил, а себе, ишь, болезнь выдумал — марально!

— Тихон Лукич, — сказал Сергей, не сдержав иронической полуусмешки, — послушайте меня. Вы неправы. Ведь эти самые моральные переживания, над которыми вы смеётесь, они, честное слово, сильнее физических страданий. Я бы, во всяком случае, рад поменяться...

— Эх-х, пустозвон! — с презрительным придыханием проговорил старик. — Не так бы надо мне к тебе приехать. А привезти бы ребёнка, посадить бы на гладкий-то стол и уйти. Давай, воспитывай, а мы «марально» страдаем.

— Что-о? — с ужасом вымолвил Лачугин, медленно поднимаясь с места. — Разве... разве есть... ребёнок?

— Нет пока, — глухо сказал Кузьмичёв. — Ждём.

Лачугин вышел из-за стола, рассеянным движением вытирая потный лоб и с тупым изумлением глядя на мокрые, вздрагивающие пальцы.

— Какое несчастье... какое несчастье... — оторопело и невнятно бормотал он.

Тихон Лукич, отвернувшись, глядел в широкое, полузадёрнутое зеленоватыми пузырчатыми шторами окно, на оживлённый заводской двор, на дымящиеся трубы, на провиснувшие под воробьями провода.

— Ехал я к тебе сюда — всё во мне белым ключом кипело. Ну, думаю, схватимся мы с ним — перья полетят. А теперь и разговаривать с тобой охоты нет. Нутро-то у тебя уж больно мелкое. Только ты меня не бойся. Я жалобиться никуда не пойду. Уеду и больше бы нам с тобой не видеться. Искать не станем. Тебе самого себя бояться надо. Все рули ты, видать, потерял в жизни. Завертелась твоя лодка — где зад, где перёд. У людей, когда ребёнок рождается — радость для них, а ты вон тут ручки от горя ломаешь.

— Но ведь я не знал, не знал, что такое случится, — с отчаянием заговорил Сергей. — Мне даже в голову никогда не приходило.

Кузьмичёв поднялся, застегнул полушубок и обеими руками плотно надвинул на голову шапку.

— Погодите, — заторопился Лачугин, — нельзя же так. Ведь это не шутка. Мы должны договориться. Я прошу вас теперь. Лене, пожалуйста, передайте, что я всегда... материально... средствами... Она, конечно, хочет, чтобы мы поженились... но... это не так просто.

— Нет уж, — прервал его Тихон Лукич, — холостой походи. И средства побереги. Не одна, чай, Ленка на свете, может, ещё расходы будут.

Он вышел из кабинета, крепко притворив дверь.

Бросившись на стул, Лачугин стиснул ладонями своё пылающее лицо, больно прикусил губу и глухо застонал.

«Боже мой!.. Ребёнок. Доигрался».

В ушах тонко звенело. Он подошёл к открытой форточке и жадно ловил ноздрями струю студёного воздуха.

«Что же делать?.. Что делать?.. Завтра начинать жить сначала?»

Но теперь даже эта мысль не успокоила его. Он подумал, что надо предпринять что-то немедленно, сейчас же. Не завтра, а прямо сейчас. И даже не сейчас — раньше бы, хоть на пять минут раньше, пока Тихон Лукич был здесь. «Догоню, — подумал Лачугин, — что там дальше будет, не знаю, но догоню».

Он вскочил и, забыв затворить дверь, прыгая через три ступеньки, не надев ни пальто, ни шапки, выскочил на сияющий двор.

В проходной Тихона Лукича уже не было, вахтёрша, улыбаясь, что-то сказала Лачугину, но он видел её, как в тумане, и ничего не разобрал.

На улице Сергей посмотрел по сторонам, ища среди прохожих малахай Тихона Лукича, но он нигде не промелькивал. Тогда Сергей повернул направо и побежал к трамвайной остановке. Пассажиры, соблюдая очередь, садились в вагон. Кузьмичёва среди них не было.

Трамвай ушёл. Сергей постоял ещё минутку и медленно пошёл назад, к заводу.

А март разворачивался по-настоящему. Дружно летела с крыш под ноги весёлая капель. Подсыхающие тротуары дымились.

Шла весна...

Три дня осатанело свистели мокрые мартовские вьюги. Три дня отец баюкал свою правую руку, морщился и говорил с одышкой:

— Фу ты, чёрт! Хоть отстёгивай.

Мать ходила тихая и молчаливая. А Петька, увидев из окна товарищей, отрицательно мотал головой: не до улицы, мол.

Отца мучили старые раны. О ранах отец не любил говорить и только один раз показал Петьке:

— Вот это — пулей... и это — пулей. А это — осколком дербалызнуло. Они, осколки-то, летят горячие, как из горна...

Петька долго с любопытством и страхом глядел на не красивые фиолетовые рубцы.

Всякий раз, когда находило ненастье, отец скрипел зубами, желтел с лица и натужливо, словно стыдясь, крихтел. За последние два года он совсем сдал. Его как-то согнуло, высушило, окидало голову сединой.

Ездил он и «на грязи». Колхоз давал путёвку. Вернулся вроде бы посвежевшим. На вопрос любопытствующих: «Как грязи?» — отвечал весело: «Не чернее наших». Но через колхозного фельдшера все прознали: толку от грязей нет, а нашли будто бы у Василия Михайлыча ещё две болезни внутри.

На колхозном собрании отцу назначили пенсию: 3 пуда муки в месяц, 45 рублей деньгами, а картошки — бери, сколько уйдёт в яму. Врачиха из района выписала капли и приказала строго-настрога: лежать, ни о чём не думать, а если «скрутит», покапать на сахар и пососать.

Отец лежал три дня, потом сказал матери:

— Дай-ка мне штаны!

Мать запрчитала.

— Что у тебя за привычка по всякому пустяку выть! — сказал отец. — Когда умру, ещё неизвестно, а эта лежба хуже всякой смерти.

С тех пор он вставал каждое утро чем свет, медленно одевался и шёл в кузницу «присмотреть за Ванькой». Ванька раньше был молотобойцем, ходил у отца в учениках, а теперь сам вёл всё дело.

— Ты уж хоть за молоток-то не хватайся, — просила мать, — кости-то не ломай.

— Ладно, — говорил отец, — я там только воздухом подышу, а то тут у нас пахнет больницей!

Петька собирался и бежал за ним. Одного отца отпустить было нельзя. Как-то он упал у дороги и не мог встать, пока не подняли люди.

— Чего всё ходишь-то? — спросил тогда лесной объездчик Семён Бобров. — Аль лежать-то хуже?

— Спробуй, — ответил отец, — тогда потолкуем. — И пошёл в сторону кузницы.

Лесной объездчик посмотрел ему вслед, уселся поплотнее в тарантасе и, трогая лошадь, произнёс сокрушённо:

— В детство впал!

После того раза отец каким-то виноватым голосом попросил Петьку срезать для него палку:

— Острижить-то я сам острижу, принеси только.

Без людей отец тосковал, радовался, когда приходили проводить мужики. Торопливо подставлял табуретки, сажал гостей.

— Силенки ещё есть кое-какие. Вроде на поправку иду. Вчера у топора черен перелетел, так сам наладил. Принеси-ка, мать, топор-то.

Мужики передавали топор друг другу, гладили новое топориче, примериваясь, вертели в руках.

— Игрушка!

— Вот я и думаю, — радостно оживлялся отец, — весной к какой-нибудь работёнке приладиться. Ведь хоть чешку к телеге сделаю, и то польза, а?

Любил он ходить и на колхозные собрания. Там у него была привилегия. Выступать разрешали сидя.

— Ладно, не вставай, Михалыч, нам так слышать.

Петька любил отца, и ему было даже как-то стыдно, что у самого у него не болели ни руки, ни ноги.

...За ночь буран унялся. Утро принесло с собой столько сверкания, света и воробьиного крика, что казалось: весна наступит не через месяц с лишним, а завтра же. Отец и Петька вставали весёлые. На полу лежали чёткие, наполненные солнцем квадраты.

— Выспался?

— Ага! — сказал Петька таким густым и басовитым со сна голосом, что отец засмеялся негромко, но легко и весело, как смеются здоровые и беззаботные люди.

«Полегчало, значит», — подумал Петька.

После завтрака они вышли на крыльцо, сели рядышком на ступеньку. Отец не торопясь, словно наслаждаясь каждым движением, закурил.

Белый рядом, голубой вдаль и совсем синий в оврагах снег то тихо мерцал, то резко отсвечивал чешуистыми пятнами наледи. От нагретых ступенек поднимался парок, пахло оттаявшей на завалинке землёй, сухим мхом в пазах, а из лесу долетал слабый горьковатый запах оживающей под солнцем древесины. Шла весна...

Сейчас отец совсем не походил на больного человека. Поджарый, чуть-чуть сутулый, с сухим лицом, не в морщинах, а в глубоких, но крепких складках. На лоб у него спускался косой язычок чёлки — совсем как у пятиклассника, только седой.

«Выздоровеет он!» — опять подумал Петька, глядя, как отец расстегнул телогрейку и словно бы весь подался навстречу горячему весеннему солнцу.

Мальчик снял шапку. Солнце ощутимо припекало.

— Рад весне-то? — спросил отец.

— Ещё как! Скоро на большом бугре сухо будет, в футбол начнём резаться.

— А мы, бывало, в лапту играли, — задумчиво произнёс отец. — На этом же бугре. Сейчас вы, наверное, такой игры и не знаете. Хлестче моего удара во всей деревне не было. Как размахнусь — палка только свистнет, мяч взойётся не видать куда...

Он замолчал, долго сидел, щурясь против света, поглаживая ладонью колено. У крыльца на солнцепёке

подтаивал с тихим шелестом снег, вверх, на карнизе, стонали, ворковали и выхаживались друг перед другом голуби.

— Ты песни петь умеешь? — спросил отец неожиданно.

— Умею, — сказал Петька, — только не знаю слов, одни мотивы.

— Эх, ты, — покачал головой отец, — на таком солнце петь надо. Весёлую какую-нибудь, удалую. У меня вот голос ослаб, как запою. Одышка... Видать, отпелся...

— Знаешь что, — предложил Петька, — я завтра все слова выучу. И буду петь тебе целыми днями. Ладно?

Отец улыбнулся и тихо положил ему на голову лёгкую жестковатую руку.

В доме через дорогу отворилась калитка и на улицу вышел их сосед, Степан Евсеич Спиридонов.

— Здорово, Михалыч! — закричал он.

— Здравствуй, здравствуй, — негромко ответил отец.

Петька любил этого человека. Был Степан Евсеич крив на один глаз, весел, высок. Носил засаленную телогрейку, низко подхваченную под животом красным скрученным бабьим платком. Одно ухо у его посаженного набекрень малахая торчало вверх, другое загибалось книзу. Ходил он быстро, с каким-то чудным припрыгом, махал руками, улыбался, лукаво посвечивая своим живым насмешливым глазом.

— Зиму, считай, перевалили, Михалыч, — громко сказал Степан Евсеич. — Нынче у меня в тени нуль градусов, а на солнце выше бери.

У Степана Евсеича на дворе висел прибитый к перекладине градусник, он этим очень гордился и любил говорить про температуру.

— Через недельку самое тайло начнётся.

— Греет сильно, воды, должно, много будет. Грачи прилетели давно.

— Какие давно, а какие ещё только слетаются, — загадочно сказал Степан Евсеич, подходя к крыльцу. — Ты про иных-то не слышал?

— Нет, а что такое?

— Другие есть... — проговорил Степан Евсеич, усаживаясь на ступеньку, — с топорами. Я вчера только с пред-

седателем ругался. «Бюджета ты, говорит, не понимаешь, выгоды не видишь». Нет, я, брат, всё вижу. Глаз у меня один, зато — как прожектор.

— Да дело-то в чём?

— В том дело, — подался вперёд Степан Евсеич, — что коровник строить шабашников подряжают.

— Ладно тебе! — недоверчиво и спокойно сказал отец. — Прошли те времена.

— Э-э-э, в любом плетне есть дырочка. Ты, может, слышал, в Кульмановке у нашего председателя шуряк живёт? Его будто и нанимают. Да ещё четырёх каких-то. С ним же пришли. Теперь вот другой день в правлении рядятся. Да небось в цене сойдутся! Знал председатель, кого приглашал.

— А вы что, вымерли, что ли, все? — негромким, но жёстким голосом проговорил отец. — Куда смотрите?

— Да в ту же сторону смотрим, Михалыч, куда и ты. Думаешь, молчим? Говорю тебе, только вчера ругался. Да ведь он отшивает по всем статьям. Строительной бригады в колхозе нет? Нет. Строить надо? Надо! Шабашников наймём — с коровником будем. А станем в честненьких играть — опять на нас все шишки повалятся. Любую малину выбирай.

Отец потемнел и складки на его лице обозначились ещё резче.

— Чего же ты, Степан, на наших людей поклёп возводишь? Или они работать не умеют? Из Кульмановки мастеров выписывают. Забыл, что ли, какое мы в третьем годе зернохранилище отгрохали? Кланялись кому?

Степан Евсеич стащил малахай и начал размахивать им в воздухе.

— А ты забыл, что тогда ещё Василий Селивёрстыч был живой? Всем спецам спец. Он этим делом руководствовал. А теперь возьми-ка на свою голову, штанов не хватит. Председатель-то мне и сказал вчера: «А ты чего кричишь? Берись, а шабашникам откажем. Строй сам». Как кляпом мне рот заткнул.

— Вот-вот, — сказал отец с тяжёлой одышкой, — они таких и ищут, кто боится да кто за штаны держится. Мы эту мразь должны с корнями выворачивать, на хвосты им

наступать... Только кричим про это... а сами по углам... прячемся. Гнать их из колхоза надо! В три шеи гнать!

Знакомая Петьке желтизна растекалась по лицу отца.

— Батя! — закричал он испуганно. — Батя! Пойдём в избу, пойдём.

Отец, сморщившись от усилия, поднялся и пошёл в дом, припадая на палку. Петька отворил ему дверь, влетел в комнату и кинулся к шкафчику. Он знал, что сейчас нужно: кусочек сахара и пузырёк с каплями.

Обедали молча, невесело, без разговоров. Такие обеды Петька не любил: даже есть неохота. Только один раз отец спросил у матери:

— Чего там нового в колхозе?

— А больно я знаю, — ответила мать, — в правление-то и не захожу почти. Дел полно. Ты у мужиков спроси.

После обеда отец снял с гвоздя шапку. Мать тревожно встрепенулась: — Куда?

— В правление. Ненадолго. Петька пусть не ходит. Один пойду. Нечего меня водить по улицам. Не бессильный я.

Но мать коротко взглянула на Петьку и он моментально собрался, застегнул пальтишко и вышел на улицу за отцом.

Со всех крыш дружно и весело осыпалась, торопилась, захлёбывалась капель. На тополях чернели серьёзные старые грачи.

Отец шёл медленно по разъезжающемуся, как песок, снегу. Палка тяжело увязала в обочине, оставляя глубокие тёмные следы.

— Ты идёшь всё-таки? — сердито сказал он, обернувшись к Петьке. — Уроки бы лучше учил. — Потом остановился, повёл взглядом по сияющему небу и проговорил негромко: — Ещё одну зиму перевалили...

В правлении былолюдно. Стояло тяжёлое влажное тепло человеческого дыхания. Один только председатель колхоза Краснощёкин сидел у стола раздетый, остальные — в расстёгнутых телогрейках, полушубках, кое-кто даже в шапках. Мутные запотелые окна посверкивали узкими извилистыми ручейками «слёз».

— Михалыч пришёл, — прошепелестелговорок.

Отец негромко поздоровался со всеми, сел на заднюю скамью около охотно потеснившихся мужиков. Петька притулился к дверному косяку и стал слушать, что говорят.

Краснощёкин тихо пристукивал карандашом о стол и после каждого слова солидно посапывал:

— А по-моему, Серафим Петрович, эта сумма тебя должна впа-алне устроить. Впа-а-а-алне!

Серафим Петрович, к которому обращался председатель, сидел в переднем углу. Лицо у него было румяное, раздобревшее. На слова председателя он крутил головой и снисходительно похмыкивал с таким видом, словно рассмеяться по-настоящему ему мешала только вежливость.

— За два месяца такие деньги, — сокрушённо говорил председатель, — ба-а-альшее дело!

— Вы меня, конечно, извините, — насмешливо начал Серафим Петрович и поглядел туда-сюда по народу: все ли слушают, — вы меня извините, но за подобную цену я могу построить хорошую баню.

— Ну, хватил, товарищ Кошелев! — Краснощёкин отвернулся в сторону и прикрыл глаза.

— А ничего должна банька получиться, — сказал кто-то из угла, — с золотыми шайками.

Послышался смех.

— От непонимания смеётесь! — важно возразил Серафим Петрович. — Я цену говорю не из воздуха, а согласно государственной бухгалтерии. — Для большей убедительности он щёлкнул на лежащих рядом счётах.

— Ты, плотник, с государством соглашаться не торопись, — произнёс отец тихо, но так, что все примолкли. — Государство с тобой, я думаю, не согласно.

Серафим Петрович удивлённо вскинулся, посмотрел на отца и вдруг улыбнулся:

— А, Василий Михалыч! Почему же ты думаешь, что не согласно? Я что, американский подданный, что ли? Такой же гражданин, как и ты. И за государство могу столько же ответить, сколько и ты.

— Возьми поменьше, — негромко отозвался сидящий рядом с отцом старый пасечник Зыков.

— Беру, как унести. — Серафим Петрович опять испытующе стрельнул глазами по лицам. — Лишнего не надо.

Я, между прочим, не меньше других для государства сделал. Всю жизнь работаю.

— Работаешь ты всё что-то вёснами, а зимой верши плетёшь! — Это с ехидной весёлостью проговорил из угла Степан Евсеич.

— Про-сти-те! — Кошелев ладонью словно бы медленно отодвинул от себя людей. — У меня есть трудовая книжка. — Он проворно нырнул рукой в карман и вытащил толстую, как бумажник, книжку в жёлтом кожаном переплёте.

— Кожа-то хорошая, — прогудел пасечник. — Дай-кошь мы почитаем, что в ней написано. Может, ты по этой книжке в сберкассе ходишь.

Но Серафим Петрович так же ловко убрал свою книжку на место и повернулся к председателю:

— Иван Андреевич, я, кажется, не навязываюсь к вам на работу. Если не нужен, скажите. А разные оскорбительные разговоры я терпеть не намерен.

Краснощёкин кашлянул и встал с места.

— Да, товарищи колхозники, давайте дело без смеху решать. Остричь мы все мастера, я сам сатиру люблю, а коровник нам всё-таки нужен. Шефы фундамент положили, а верх надо самим собирать. Вот Серафим Петрович берётся за это дело с артелью. Давайте о цене разговаривать.

Все замолчали. Петька переминался от усталости с ноги на ногу. Синим туманом висел над потолком дым.

— А кого это первого догадало шабашников подрывать? — спросил отец.

Председатель повернулся к нему, перегнулся через стол и, тиская грудь кулаками, жалобно произнёс:

— Василий Михалыч, дорогой! Ну, сядь ты на моё место, найди выход из положения! Животноводство-то надо поднимать! Любой ценой надо. Приходится резервы изыскивать.

— А потом, я не понимаю, — вступил опять в разговор Серафим Петрович, — если коровник поставят наёмные рабочие, государству от этого вред, что ли, какой?

— Вред, — коротко отрезал отец.

— Ну, никакого, положим, вреда большого нету, — примирительно сказал Краснощёкин.

Отец с неожиданной лёгкостью поднялся с лавки и, пристукивая палкой, в зазвеневшей вдруг тишине подошёл к столу:

— Нет, врѣшь, — заговорил он тем своим тихим голосом, который приходил к нему в ярости, — врѣшь, председатель. Большой вред от этого.

Петька испугался, что отцу сейчас опять будет плохо, и торопливо нащупал в кармане пузырьрёк с лекарством.

— Да в чём же вред? — спросил Кошелев.

— В том вред, — отец тяжело задышал, — что тебе всё равно, что строить: хоть коровник, хоть церковь. Лишь бы хапнуть. У вас в своём колхозе рук не хватает. Мальчишки на сеялках стоят. А вы туда стремитесь, где людей обобрать можно безнаказанно. Шкуры!

— Хулиган! — багровея, заорал Серафим Петрович. — Я до народного суда дойду! Не сидел в тюрьме-то, так посидишь перед смертью. За клевету не помилуют. Ранами, что ли, своими хвалишься?

— Дурак! — усмехнувшись, медленно произнёс отец. — Раны не побрякушки, чтобы ими хвалиться. Я, может, помру от ран...

— У меня тоже есть рана! — визгливо, со слезой в голосе закричал Серафим Петрович. — Я показать могу.

Он повернулся к народу задом, наклонился и ловко завернул полушубок вместе с рубахой. На спине у него виднелся бледный широкий шрам.

Несколько мгновений все молчали, потом из угла послышался голос Степана Евсеича:

— Серафим Петрович, друг сердечный, а помнишь, тебя перед войной бык пырлял колхозный? Это ведь он, проклятый, тебе в самое это место угодил.

Все в правлении захохотали. Кошелев мгновенно опустил полушубок.

— Напраслину несёте. Бык меня пырлял, не отказываюсь, но совершенно в другую область.

— Товарищи, товарищи! — Краснощёкин забухал кулаком по столу. — Не об этом нам с вами говорить надо. Так никакого порядка не будет. Срядимся в цене или нет?

— Я полсотню спускаю, — с чувством произнёс Серафим Петрович, — для народа мне не жалко. Не рвач я.

— Прижал ты его, Михалыч, — восхищённо проговорил Зыков, — будто ужа вилами. Об народе человек вспомнил. Он легче ремень со спины даст снять, чем пятьдесят целковых выпустит.

— Хватит, — пристукнул палкой отец, — отстроились. Больше мы не дадим им строить. Сейчас весь народ против них поднялся. Бегут они, как тараканы от кипятка. Этот последний остался.

Серафим беспомощно и растерянно смотрел на председателя.

— Сотню спускаю.

Отец поднял на него глаза с брезгливым презрением.

— Самим надо строить, — твёрдо произнес он, обращаясь к людям. — Топоров в деревне хватит.

— Разве в топорах дело, — вскочив, с горячностью заговорил Краснощёкин. — Топоры-то есть, да к топорам голову надо. Я сколько просил в управлении: дайте прораба хоть на месяц, плотников у себя найдём. Не дают. Среди своих крикунов много, а ответственности брать никто не хочет. Вон Степан Евсеич критикой любого ужомёт, а сам возьмётся? Спроси-ка у него.

Отец стоял впереди, высокий, худой, сутулый. Чёрные тени лежали в глубоких крепких складках его лица. Обе руки опирались на палку.

— Я пойду за старшего, — тихо проговорил он.

Петька даже испугался, какой поднялся шум. У Краснощёкина покривилось лицо, словно за отца ему было очень неудобно. Степан Евсеич замахал своим маляхаем:

— Если на это дело идёт, то я вот что скажу: собирайте плотников хоть завтра, бригадиром встану. Не лыком шиты.

— А ты, Василь Михалыч, — гудел пасечник, — не ходи лишнего. Нужный ты нам человек. Души у тебя много.

— Не души у него много, а пенсия мала, кажется, — с коротким смешком проговорил Серафим Петрович, — на заработки потянуло. В могилу смотрит, а всё за рублём тянется.

— Эх! — Отец поморщился. — Кабы силы были... По морде тебе дать полагается, Серафим Петрович!

— Да чего с ним разговаривать! — закричали из народа. — Пусть катится в свою Кульмановку.

— И жеребцов своих пусть забирает. Посевная скоро, а они на сторону подались, хлюсты!

Серафим Петрович зло посвёркивал узкими, не поймёшь какого цвета глазами.

Домой отец шёл необыкновенно твёрдо, весь подобрившись и выпрямившись, словно помолодел. Часто останавливался, клал Петьке руку на голову и повторял:

— Солнца-то, солнца-то сколько! В избу идти неохота.

Перед вечером пришла с работы мать.

— Что же ты сам себя, Василий, губишь? — заговорила она с порога. — Вся деревня говорит, как с Кошелевым в правлении сцепился. Здоровья своего не жалко? Ведь вставать нельзя, не то что нервы тратить. Уж, кроме тебя, некому порядку наводить.

— Есть кому, — ответил отец весело, — да мне самому охота. — И как-то между прочим добавил: — Готовь мою старую одежду, завтра работать иду.

— С ума сошёл... — только и сказала мать.

...На другой день утром Петька и отец вышли из дому вместе. Петька тащил школьную сумку и отцовский плотницкий топор. Морозец был лёгкий-лёгкий, и запахи весны внятно и волнующе чувствовались в нём. Дорога под ногами похрустывала, молодой и весёлый воздух кружил голову и словно бы счастьем окатывал сердце. Голубые столбы дыма прямо и величественно замерли над деревней.

— Ты не забыл, какой мы вчера уговор сделали? — спросил отец.

— Забыл, — сказал Петька, — а какой?

— Учи песни-то, вечерами петь будем с тобой. Мне теперь можно. Полегчало, брат, здорово.

Расстались они у школы.

— Я к тебе приду после обеда, — сказал сын.

Отец улыбнулся:

— Заходи, присматривайся.

...Когда кончились уроки, Петька прямо с портфелем побежал на стройку.

Работа здесь кипела. Так и сяк лежали свежесрубленные брёвна. Сочное чавканье топоров раздавалось в воз-

духе весёлым разнобоем. Плотников работало человек десять.

Первым увидел Петьку Степан Евсеич.

— Помогать пришёл? — спросил он, разогнувшись. — Пора, пора в плотницкое дело вникать. Вон отец-то топор точит. Работать мы ему, ясное дело, не позволяем.

Петька подошёл к отцу. Тот сидел у бревна поодаль от всех и любовно выглаживал бруском сверкающее острие зажатого меж колен топора.

— Отучился? Погоди малость, скоро обедать пойдём. Вишь как народ работает весело. Я вот сейчас только один паз выдолблю.

Отец положил топор на землю, опёрся рукой о бревно и стал подыматься. Виновато-напряжённая улыбка застыла у него на лице.

— Один паз только... — с усилием проговорил отец. Он старался перевалиться набок, но рука у него всё подгибалась и подгибалась: — Один паз...

— Батя, — шёпотом проговорил Петька, — батя!.. — Он упал на колени, вцепился отцу в телогрейку и с ужасом повторял: — Батя!.. Батя!..

Лицо отца быстро серело. Он валился и валился на землю, а с лица всё не сходила виноватая улыбка.

— Батя... — дрожащими губами беззвучно произнёс Петька, — батя, миленький, вставай...

Отец медленно и тяжело клонился книзу.

Всё произошло так тихо и незаметно, что люди не сразу спохватились, и звучное весёлое тяпанье топоров всё ещё раздавалось в воздухе.

Шла весна...

Машенька

I

С утра, если не считать уборщицы тёти Стеши, первой Сприходила в колхозное правление секретарша Сизова — Машенька, старая дева с крупным желтоватым лицом, большим носом и выпуклыми, как от базедовой болезни, глазами. Вешала на плечики своё новое, без единой пылиночки пальто, натирала за ушами и опрыскивала грудь духами «Опера» и, не доверяя уборщице, заново прибирала на председательском столе. Всё приводила к симметрии, затачивала карандаши, меняла в графине воду, с любовью и отвращением протирала пепельницу. Она любила Сизова.

Эту великую тайну знала вся деревня, ибо она сама собой читалась в выпуклых лучистых глазах Машеньки. Каждое утро, стоило только Сизову войти в приёмную, с ней случалось что-то вроде тихого обморока: обрывалось сердце, сдавливалось дыхание и меркло в глазах. Выражение лица делалось беспомощным и виноватым, и Машенька собирала все силы души, чтобы принять вид независимой озабоченности. Стараясь побороть ужасное состояние, она морила себя работой, утомляла до головной боли и в течение дня вроде успокаивалась, но утром всё повторялось опять.

«Господи, — думала она иногда. — Господи, уехать, что ли, куда-нибудь!..»

О Машенькиных чувствах судачили, подсмеивались и пересуживали, но только всё за глаза, при ней же и намёка никто не смел сделать: характер у Машеньки был суровый и, единожды невзлюбив человека, она при своей должности могла ему сильно повредить.

Ничего не замечал лишь Сизов. Высокий, широкоплечий, властный, несколько рано для своих двадцати девяти лет заматерелый и утративший с широкого лобасто-

го лица признаки юношественности, он всегда говорил со своей секретаршей в деловой манере, бегло посматривая на неё тяжёлым, сыто-снисходительным взглядом, в котором Машенька всем своим существом ощущала оскорбительное равнодушие.

Иногда она позволяла себе презирать Сизова. Как он не чувствует, что такой любви, как у неё, нет и не может быть ни у кого на свете! Разве эти смазливенькие вертушки с их глупым смехом и бесстыжим блеском в глазах способны чувствовать, как она? Если бы людям сделали испытание и сказали: кто даст распилить себя за любимого человека — разве согласился бы кто-нибудь, кроме Машеньки? И разве справедливо, что такая необыкновенная любовь кипит в ней и пропадает зря?

Вечерами в долгом одиночестве одолевала Машеньку странные мечтания. Хотелось ей, чтобы однажды, когда они останутся в правлении вдвоём, как-нибудь случайно поскользнулся бы Сизов и, ударившись головой о косяк, упал без сознания. Как она метнулась бы к нему унимать кровь, упала перед ним на колени, прижала к груди и, пока он в беспамятстве, поцеловала бы. Он бы открыл глаза и понял всё.

Но Сизов ходил по земле крепко и даже не пошатнулся ни разу.

Всю ночь не спала она, когда Сизов однажды уехал в город и случилась метель. Всё казалось, что он тронется в обратный путь, пропадёт. Скрестив на груди крупные костлявые руки, стояла Машенька у окна, слушала вой, страшные выкрики ветра и плакала от страха, беспокойства и радости. Радости от того, что ей есть за кого страдать.

А когда Сизов вернулся на другой день к вечеру, ей сразу бросилась в глаза какая-то перемена в нём. Что именно за перемена, она не могла бы сказать, потому что только наитием, чутьём ловила в голосе, жестах, выражении лица Сизова оттенок, похожий на затаённую истому. И как-то очень уж он ни с того ни с сего вдруг задумывался, замолкал и подолгу размягчённо смотрел в окно. Спохватывался, хмурился, а потом — опять. Чудилось Машеньке в этом что-то нехорошее, греховодное, пугающее. В деревне говорили:

— Нашёл председатель невесту...

Она не верила.

А тут ещё весна приводила в смятение Машенькину душу.

После пурги с неделю держалась звонкая, с морозцем погода, вечерами холодно горели лимонно-жёлтые заката и резко рисовались на них чёрные вётлы с головёшками грачей. Потом установились тёмные, набрякшие вялой тишиной дни и начало таять.

Посерела и выступила наезженная машинами дорога, вышли из-под снега верха крыш, заборы, кровельки колодцев. Всё это тяжко чернело и вид у деревни был угрюмый. Со столбов, горбясь и широко расцепляя клювы, кричали вороны.

Но даже в хмурости неба, в хриплых вороньих стенаниях чувствовалась весна. Сырой воздух вобрал в себя запахи отошедшей от мороза мокрой щепы, прелой соломы, зазеленевшей осинової коры, и при каждом вдохе привыкшие к зимней пресности ноздри трепетно ловили веяния очнувшейся земли. Ночами несколько не морозило, в низинах тонкими слоями плавал туман, и немолчно звенел по деревне певучий лёт капель. А потом без всякого ветра сами собой разошлись с неба чёрные покровы туч, и всё мокрое (а мокрым было всё) горячо и ликующе заблестело на солнце, с каждого пригорка снующе побежали витые ручьи, а издалека донёсся грозный рёв тронувшихся оврагов.

В эти дни Машенька совсем извелась. Лицо ещё больше похудело, словно бы увеличился нос, резче обозначились под платьем ключицы, а глаза так и полыхали. Характер у неё сделался неровный, как у школьницы: то развеселится, то молчит целый день. Ночами, раздумавшись, она смелела:

«Уж чем так мучиться, лучше подойти и сказать ему всё. Извините, скажу, я в своих чувствах не виновата, мне самой от них одна мука. Но если вам нужна женщина хоть и с некрасивым лицом, но зато с такой любовью, какой вы ни у кого не увидите, то вот... Пусть скажет, что угодно. Хуже, чем теперь, не будет...»

Но с наступлением утра ночные мысли улетали, как дым, и казались ей смешными в своей безрассудности. Не

только объясниться, но даже зайти лишний раз в кабинет к Сизову она стеснялась, а если заходила, то не сме- ла прямо глянуть ему в лицо. Облик его почему-то стал пропадать из её сознания. Иногда она прикрывала глаза и пыталась вызвать Сизова воображением. Проплывали всякие лица, иные из которых она видела, может быть, раз в жизни, виделись отчётливо и ярко, как в зеркале, а Сизов не являлся.

«Уж не помешаться бы, — думала она. — Прямо бог знает, что со мной творится. Неужели это не пройдёт?»

Как-то Сизов пришёл в правление веселый, радост- ный, в плаще нараспашку, в старой кепке со сломанным козырьком, какой-то простой, домашний.

— Что делается-то, а? — заговорил он, вытирая у по- рога забрызганные грязью сапоги. — Полное небо жаво- ронков. Поют, собачьи души, прямо голова сама задира- ется. Сейчас в поле был, слушал.

— Я тоже слушала, — зачем-то соврала Машенька и заалелась. Видно, никогда не научится она вести с ним лёгкие разговоры. А ведь дома она даже нарочно обдумы- вала их и репетировала перед зеркалом. Всё получалось так хорошо. Одну бровь нужно было ставить чуть выше другой, голову слегка откидывать и смотреть с весёлым и ласковым любопытством. Смех Машенька выбрала чист- тый, певучий, как бы с лукавинкой, и к этому придумала жест: поправлять волосы на затылке, которые там были у неё собраны большим блестящим пучком.

Ничего этого, разумеется, не получилось. Она, как всегда, оцепенела от смущения и потерялась вконец.

— Скоро мы, Машенька, будем ландыши собирать, — говорил между тем Сизов, — черемуху нюхать. А пока ты отпечатай-ка сводочку по ремонту в разрезе бригад. Че- рез недельку боронить поедет.

Он прошёл в свой кабинет за высокой двустворчатой дверью с золотой надписью «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» и на Ма- шенькину душу сразу опустилось огромное облегчение. Она с яростью принялась греметь на огромной машинке, потом сбегала в бухгалтерию за сводкой, потом приняла телефонограмму и отнесла её секретарю парткома Кур- дюмову — седенькому старичку с острой лысиной на ма-

кушке, которого звали все Одуванчиком, и при этом зорко следила, чтобы входящий люд насухо вытирал ноги и не топтал бледно-розовый линолеум приёмной.

Машеньку побаивались. Входя, почтительно с ней здоровались и по взгляду её строго блестящих выпуклых глаз словно бы старались определить, как вести себя дальше.

Скоро у Сизова собрался народ и из кабинета понёсся покрываемый частыми возгласами озабоченный гул. В приёмной остался сидеть только Кантонист — худой небритый мужик со стальными зубами и в линялой военной форме. Сидел он нелепо, подложив ладони под себя и непостижимым образом обвивая ногами ножки стула. Двигая круглыми белесыми бровками, он вслух репетировал давно уже, видно, приготовленную для начальства речь.

— Я — простой человек, а справедливости добьюсь. Законы для всех писаны, и для вас, в том же числе, гражданин Сизов. Я лишнего не прошу, а что полагается — отдай. Я на производстве целыми днями томлюсь и, выходит дело, мне жениться времени нет? Врёшь! Совет Министров на обзаведение семьёй три дня человеку отпускает. Разве ты главнее министров, что не даёшь! Я свой род на земле прекращать не намерен — потому женюсь. Дай мне к тому условия!

Машенька зло и сухо блеснула на него глазами:

— Кому это нужно, всё выслушивать! Каждый день приходит и заводит свою песню, а людям работать надо.

Машенька терпеть не могла Кантониста. Разбитной, непочтительно разговорчивый, он не соблюдал в правлении никаких этикетов. Минувя её, легко проникал в кабинет к Сизову, не робел ни перед каким начальством и один раз даже заместителя министра, посетившего колхоз, спросил, какая у него зарплата. Жил Кантонист бобылём, по странной прихоти не признавал никакой одежды, кроме военной формы, и постоянно к кому-нибудь сватался. Дерзнул он в своё время предложить руку и Машеньке. Года два назад присылал к ней для переговоров свою тётку Кирильевну — огромную старуху с седыми усами и грубым басом. Кирильевна долго осматривалась в Машенькиной светёлке, долго располагалась со своими

юбками на стуле, запросила чаю с вареньем, молча выпила четыре чашки и уж на пятой принялась за сватовство.

— Чисто ты живёшь, Манька. Посмотри, у тебя порядок кругом, на окошках занавесочки, покрывальце вон на кровати инда как кипень горит, сору нигде не видать никакого. Я помню, и мать твоя до дому такая ж срушная была. Бывало, квашню покойница по два часа месит. Мы только коров гоним — она уж, глядишь, мотается в окне-то, тесто творит. Ну, зато у неё и пироги были! В руке держишь — воробей, выпустишь — журавель, до того пышны. Оно, как ни говори, порода обязательно скажется. Видать и в тебе сноровку. За это ты мне ндрависься. Тебе который год? Да ты не красней, я зря не спрошу. Года никак за четыре ты перед войной рожона. Не девочка уж. Надо об себе подумать. Келейницей ведь не будешь всю-то жизнь житовать, ясна сокола пора приглядывать. Молодые-то, вишь, не сватают, на лицо глядят. Патрет им нужен. Карахтера твоего не понимают. А пословица, девонька, так про корову молвит: стенами не удалась — в молоко пойдёт. Ты больно-то не робей, есть у меня для тебя гостинчик.

Как только Машенька узнала, какой «гостинчик» имеет в виду Кирильевна, её охватил гнев, какого она никогда до этого не испытывала. Чуть не в толчки выгнала она из дому старуху, заперлась на крючок и, бросившись на своё «кипенное» покрывальце, целый день плакала сдавленными, тихими слезами. Тогда-то со страшной очевидностью и пришло ей в голову, что всё уж, должно быть, в её жизни окончательно сложилось, близкого человека не будет, а если хочешь — выходи замуж за Кантониста.

Прожила она в таком настроении год, а потом вот на свою беду влюбилась в Сизова. Кантонист же ничуть не огорчился тогда отказом и продолжал энергичные поиски супруги. Приводил нескольких, но то ли они ему с глазу на глаз не понравились, то ли он им не приглянулся, — семейная жизнь у Кантониста никак не налаживалась.

...Кончилось совещание, люди стали выходить из кабинета. Сквозь полуоткрытую створку двери в приёмную проник застойный запах курева и было слышно, как Сизов вёл с кем-то тяжёлую борьбу по телефону, то повышая, то понижая голос периодами. Решившийся было шагнуть в

кабинет Кантонист остановился у двери, стараясь по тону определить настроение председателя: под горячую руку соваться не следовало.

Машенька тотчас вскочила с места и плотно прихлопнула дверь.

— Этого ещё только не хватало, чтобы подслушивать! Никакой дисциплины в людях нет! Сиди и жди, когда войти разрешат.

— Никак, сердитый? — вопросительно сказал Кантонист. — Что-то никак я его в добром духе не застаю. Весна теперь, мечется. Может, после посевной зайти, когда отмякнет у него нутро-то. Как ты, Маруся, думаешь?

— С такими глупостями я бы вообще не пошла!

— Да ведь твоё дело девичье, у тебя другое соображение.

Дверь отворилась и на пороге показался Сизов. На лице его не было и следа утреннего оживления, он действительно был сердит. На скулах тлел неровный румянец, челюсть отяжелела и в глазах стояло недоброе спокойствие. В таком состоянии голос у него был тихий, с подчеркнутым оттенком доброжелательности.

— Ты ко мне? — едва ли не ласково спросил он Кантониста. — Слушаю.

— Я, Алексей Иваныч, как обижался, так и буду обижаться. Нельзя так с человеком обходиться! Через это опять у меня жена ушла. Ты, говорит, меня не уважаешь и никакой власти в колхозе не имеешь, если тебе на женитьбу отгул не дают. Конечно, так у меня женщины держаться не будут. Новую кошку, и ту приручают... Совет Министров определил...

— Сколько тебе в году отгулов требуется? — ещё ласковее спросил председатель.

— Да мне лишнего не надо. — Круглые бровки Кантониста играли. Хоть бы раз в год давали, а как окончательно женюсь, то и разговор брошу. Мне вот теперь из Низовки одну советуют. Я её знаю, хорошая собой баба, но заносчива, в один день никак не уговоришь. Как раздополье кончится, я бы по сухому и съездил...

— Седой волос у тебя, Семён Макарыч, пошёл, а ты всё в бирюльки играешь, — раздувая ноздри, сказал председатель. — Всю округу ведь ты пересватал, неужели ещё

дура осталась, что за тебя пойдёт? Смешить людей хватит! Если кого найдёшь, пусть она сама в правление придёт и за тебя попросит. А сам больше с такими вопросами не обращайся.

Кантонист собрался было возразить, но председатель взялся за него с другого бока:

— Это ты для телят денник делал?

— Кому же ещё, кроме меня. Я своё дело знаю.

— Ну вот, — не повышая голоса, продолжал Сизов, — сегодня же притяни все жерди к столбам гвоздями, а не собачьими ошейниками. Если увижу хоть одного телёнка на озимых, с тебя штраф возьмём. Ясно?

— А чего ж не ясно...

Сизов повернулся к Машеньке:

— Я в район выехал — если спросят. Сводка готова? В папку положи. Буду вечером. Если задержусь, пусть Пётр Игнатьич наряд проведёт.

Сизов сунул папку под мышку, дёрнул за сломанный козырёк кепки и вышел из правления.

Кантонист через окно задумчиво наблюдал, как председатель садился в машину, как «газик», буравя лужи, покати́л по улице. Потом поделился с Машенькой:

— Серьёзный он парень. Кого хочешь в оборот возьмёт. А на настоящее начальство, между прочим, не совсем ещё похож. В машину, к примеру, не так садится, головой вперёд лезет. Настоящее начальство в машину задом задвигается, а головой в это время с наружным народом разговаривает. Бывай здорова, Маруся!

Кантонист ушёл и в опустевшей приёмной опять ожесточённо загремела машинка.

«Всё вы только болтаете, что вам любовь нужна, — думала Машенька, мысленно обращаясь ко всему человечеству. — Если бы вы и вправду нуждались не в смазливом лице, а в любви, вы бы уже давно заметили, что нет любви чище и преданнее, чем любовь некрасивых девушек. Если ценить по душе, то любая красавица будет рядом с нами хуже замарашки. По каплям пьёте, а целого моря не видите. Так вам и надо».

И, никем не видимая, долго ещё бушевала распалённая гордыня Машеньки.

II

...По лесам цвела черёмуха. Было её в этом году необыкновенно много, может быть, потому, что небывалой силы разлив долго держал под водой подступы к лесу, и черёмуха расцвела, как сама хотела: никто её не ломал. Даже издалека было видно, как по зелёным опушкам млечно белели курчавые пышные купы.

Вечерами, когда огромное усталое солнце медленно падало за горизонт, а истаявшая льдинка месяца уже висела в пустынном светлом небе, Машенька делала долгие одинокие прогулки в лес. В низине было ещё прохладно и сыро. Она надевала белые ботинки с блестящими молниями, накидывала на плечи шаль с большими оранжевыми цветами и, прежде чем идти, некоторое время стояла перед зеркалом, с чувством сладкой грусти разглядывая себя с ног до головы. Туго собранные на затылке чёрные волосы при малейшем движении отсвечивали, шаль скрывала худобу и костлявость, напряжённый блеск глаз как бы заслонял желтизну и неженское строение крупного тяжёлого лица. Она была почти красива и, мысленно ставя себя на место Сизова, думала за него: «Как я не замечал раньше, что это прекрасная девушка! У неё, если присмотреться, славное, искреннее лицо, а таких больших и чистых глаз нет больше ни у кого».

А дальше, как во сне, наяву её обступали такие видения, что звенело в ушах от прихлынувшей крови и мерк свет за окошками.

В лес она шла узкой, протолоченной скотиной тропинкой, на которой густо печатались раздвоенные следы коровьих копыт, а по сторонам наивно таращились жёлтые глазёнки одуванчиков. В густой и яркой зелени низины дремотно поблескивали мелкие озёра оставшейся от половодья воды, из оцепенелого, слабо освещённого гаснущим закатом леса несло редкое звучное цоканье соловьёв. В сыром, наполненном вечерней свежестью воздухе рос и настаивался томительный, до сердцебиения волнующий запах черёмухи.

Всякий раз, когда приходила весна, черёмуха начинала мучить Машеньку. И даже не черёмуха, казалось, а некий человек, имени которого она не знала и никогда не

видела в глаза, находясь неизвестно где, — может быть, совсем рядом, а может, на другом краю земли, — смутно грезился и заставлял неотступно думать о нём. Все силы души, вся её нерастраченная готовность любить предназначались тому человеку. Стоило зацвести черёмухе, как наступал странный приступ влюблённости в этого кого-то. Она часами бродила по лесу в остром предчувствии счастья, пела вполголоса, бормотала бессвязные, щемяще-ласковые слова, а кончалось всё горькими ночными слезами в подушку. И так каждую весну.

Теперь же, когда тот неведомый поселился в Сизова и по десяти раз в день в головокружительной близости проходил мимо или останавливался около неё, Машеньке часто казалось, что кто-то сильно и грубо дёргает её за сердце.

— Чем же всё это кончится, — бормотала она про себя. — Чем же всё это кончится?

Только лес, только черёмуха понимали и разделяли каждое движение Машенькиной души. Они были наполнены тем же, чем и она. Как слепая, шла Машенька в зелёном пахучем сумраке, дышала и не могла надышаться сырой свежестью леса, и длинные прохладные ветви берёз нежно гладили её по лицу. Дневные испарения земли сгущались в сизую пелену тумана, а он тихо стлался по полянам, как дым от выстрела.

— Чкво? Чкво? — чётко и радостно спрашивал о чём-то соловей.

«Завтра же скажу ему, — думала Машенька, — больше так жить нельзя».

...Был разгар сева и Сизов за эти дни то ли от забот, то ли, как она догадывалась, от каких-то неприятностей осунулся и помрачнел лицом. В правление он приезжал только к вечеру — пыльный, загорелый, постаревший от усталости, единым духом выпивал полграфина воды, бросал на стол грубую соломенную шляпу и, подымая на Машеньку тяжёлые, как осеннее небо, глаза, спрашивал:

— Ну, какие тут новости?

Однажды она набралась решимости и, стараясь придать голосу естественный тон, сказала участливо:

— Вид у вас, Алексей Иванович, совсем замотанный,

прямо, смотреть — жалость берёт. Целыми днями на ногах, питаетесь как придётся, разве так можно?

— Можно, — рассеянно сказал Сизов, перебирая бумаги. — Всё, Маша, можно... Ничего со мной не сделается. Живы будем — не помрём...

— Вон и рубашку смотрите как заносили. Хоть бы собрали да мне отдали, я бы постирала. И в комнате у вас, наверное, никакого уюта нет.

— Чего нет, того нет. Вот погоди, женюсь, и буду марафет наводить. А пока так, по-босаяцки...

— А скоро?

— Женюсь-то? А вот зима придёт, и извольте радоваться. Пойдёшь за меня?

Машенька хотела засмеяться, но смех не получился, у неё покраснело лицо, глаза обожгло слезами и она торопливо вышла из кабинета. С тех пор она даже заговаривать боялась с Сизовым, как будто произошло между ними что-то неприличное.

...В лесу Машенька бродила допоздна, когда уже сделалось совсем зябко и посветлевший месяц с тихим изумлением смотрел на освещённую им землю. Короткая густая трава брызгала под ногами росой, сплошным облаком затопивший низину туман доходил до колен. Установившуюся тишину не нарушали ни Машенькины шаги, ни дальний ленивый брех собаки, ни хриплый голос, беспрестанно выкликавший неподалёку: «Писарь! Писарь! Писарь!...». Наперерез медленно шёл — словно бы плыл по воздуху — казавшийся огромным чёрным привидением старик Ермалаич, имевший в деревне ещё и другое имя — Сатинет.

— Это ты, Машура? А я гляжу, кто-то уж больно длинный идёт. За черёмухой ходила? А у меня от этого духу голова болит. Нанюхаюсь — как с похмелья. Моего змея-то горынского не видела? Телёнок не попадался? Ну, дал мне бог бычка! Умнее иного человека, право слово. Хоть в клетку его сажай наподобие тигры. Махнул через городьбу и ушёл. Вот весь вечер хожу, кричу, как осёл ерусалимский. Думаешь, он не слышит? Распрекрасно слышит. Жрёт где-нибудь сейчас и думает: дери, дери глотку, дорогой хозяин. Чего там у вас в правленье новенького? На пенсию надбавки не сулят?

— Пока не слышно...

— Кабы накинули, я бы живо этого тритона прирезал, а то вот бегаю за ним, как портсмен. Как не найду — старуха мне бюро устраивает, чистая беда!

Сатинет вытащил из телогрейки щепоть табаку, перекосив лицо, загнал его с радостным кряхтеньем в ноздри, предложил Машеньке.

Она со смехом отмахнулась:

— Нашёл кому предлагать!

— Напрасно брезгуешь, — сказал старик. — От него мозги свежеют. Новость-то не слыхала? И-и, голова, да чего ж ты молчишь! Кантониста-то, пожалуй, теперь за решёточку определяют. Лошадь колхозную, Дешешу, вчистую загнал. Свататься эдак ездил в Низовку. Взял самовольно племенную кобылу, запряг в тарантас и поехал, как маршал Блюхер. Там ему, видно, лыжи завернули, он напился, встал встояка и до самой Лузановки гнал намётом. Только успел до базы доскакать, Дешеша бух — с копыт упала. Мыслимо ли дело? Я мимо шёл, смотрю, бьётся бедная лошадь в оглоблях, храпит, зубы ощерила, а этот хрен стоит рядом с тарантасом и колесо мочит. Эх, во мне и взыграло! Как ему хворостиной меж ушей прилажу, он на меня было, а тут Сизов в аккурат вывернулся с какой-то стороны. Тряханул Кантониста за грудки, как башка не отстегнулась. Тот как в проулок кинется, орёт: убили, убили! Не знаю, чего уж теперь будет.

— Паразит, — сказала Машенька, — за такую лошадь его расстрелять надо. Она умнее его была.

— Истинный бог, умнее...

Старик долго и ядрёно ругал на чём свет стоит Кантониста и конюхов, которые не углядели, как он взял лошадь. Время от времени останавливался и слушал, не обнаружил ли себя как-нибудь телёнок. На прощанье ещё раз понюхал табаку, с львиной зычностью чихнул на всю окрестность.

— Ну, я пойду, Машура. А ты всё одна разгуливаешь? Уж пора тебе какого-нибудь страдателя найти.

— Никто вот не находится, дедушка, — с неловкой усмешкой сказала Машенька и потупилась.

— Раз сами не находятся — надо маленько навялиться, — просто и обыденно посоветовал Ермолаич. — Нынче мужик с разбором, его хитростью надо брать.

Он повернулся и, шумно зашуршав сапогами по мокрой траве, стал опять безнадежно покрикивать:

— Писарь! Писарь! Писарь!

Машенька, пока шла низами, совсем задрогла от туманной сырости, а на горе обдало её сухим теплом ещё не остывшей земли. Совсем рядом играла огнями деревня, с окрестных полей доносился сытный, тяжело порхающий гул тракторов, вдали над чёрным изгибом земли плавилась, томилась, меняла цвета диковинная звезда, точно хотела сказать миру нечто сокровенное.

На всё была брошена лёгкая пелена усталости и покоя.

Сзади догоняли чьи-то быстрые летучие ноги.

— Скажите, эта деревня как называется?

С острой женской наблюдательностью оглядела Машенька поравнявшуюся с ней девушку: хрупкая, стройненькая, в шляпке, в модном, сухо шелестящем плаще, с сумочкой через руку. На смутно-бледном лице темнеют глаза и губы. Запах незнакомых духов. Видно, городская.

— Лузановка это.

— Наконец-то! Я думала, заблужусь. Меня довели до соседнего села, говорят — здесь недалеко, а я иду, иду, уже беспокоиться стала. Ой, какая у вас черёмуха! Сами рвали? — Голос у девушки чуть глуховатый, с усталинкой.

— Ну а кто же. В этом году у нас её полон лес — и пахучая изо всех весен.

— Вот как я удачно приехала, у нас за городом мало и обломали всю. Ландыши тоже есть?

— Полно, хоть косой коси. — Машенька повернула к попутчице вытянутое тяжёлое лицо. — А вы надолго к нам?

— Пока ещё не знаю, — не вдруг ответила девушка. — Может, задержусь, а может, уеду...

Они шагали по плотной, туго укатанной машинами дороге, и земля звонко отзывалась под их ногами. Откуда-то с низов слышался мёртвый скрип дергача. Машенькин букет исходил медовым благоуханием.

— Дать вам черёмухи?

— Если можно — уделите веточку. Ой, куда вы столько!

— Берите, в воду поставите... А вы к кому приехали?

Утопив лицо в черёмухе, девушка долго не отзывалась, потом проговорила не совсем твёрдым голосом:

— Мне к Сизову нужно. Алексею Ивановичу. Он здесь председателем работает. Знаете?

Обе вдруг почему-то остановились и с внезапной настороженностью посмотрели друг на друга. У Машеньки даже в висках заломило от повернувшегося в сердце предчувствия, глаза её мерцали, как вода под месяцем, в крупной ложбине над ключицами дёргающе забились жилка.

— А вы... вы кто ему будете?

— Мы с ним... в общем... — Девушка неопределённо повела плечами. — Мы с ним друзья... Переписываемся.

— Вон что... — тускло сказала Машенька и, зябко запахнув на груди шаль, двинулась дальше. Девушка шла рядом, звучно целуя каблучками дорожную твердь. Тёмные волосы возле щеки подрагивали. Они входили в деревню. Одинокий уличный фонарь уныло светил себе под ноги. На другом конце визгливо тявкала гармошка, чей-то голос дурашливо выговаривал:

Не ругайте нас, мамыши,

Не ругайте, тетушки...

— Вы мне подскажите, как к его дому пройти?..

— Это туда, вверх по улице... предпоследний дом... — Скосив глаза, Машенька ещё раз оглядела её, теперь на свету. Оглядела всю — от шляпки до простых лёгких туфель, избегая только встречаться глазами, и тоскливо затажелело сердце: красивая!

Машенька указала рукой, куда нужно идти, и долго смотрела вслед удаляющейся с прижатым к груди букетиком черёмухи девушке. Потом, подавленная и усталая, она медленно, не разбирая дороги, побрела к дому и, как единственной улады, жаждала: упасть в подушку, заплакаться...

Вдохновение

В настоящее время Иван Андреич Коптилкин состоит в должности сторожа на колхозном току, а до этого много лет подряд бесменно пас коровье стадо.

Сторож он хороший и пастух великолепный, но славу ему принесло не это. Всё-таки главной страстью Ивана Андреича была философия, то есть рассуждение о жизни, а больше того — поэзия, то есть писание стихов.

Заниматься стихами Иван Андреич начал лет в шестьдесят пять — по теперешним его годам, можно сказать, в юности. И вот тогда-то, дымчатыми утрами, знойными полуднями, облегчительно прохладными сумерками стали складываться в его голове строчки о своём житье.

*Я пастух коровий,
Я пасу коров,
Пока при здоровье —
Всё пасти готов.*

В Иване Андреиче не было той заносчивости, которая обычно свойственна начинающим литераторам, и он доверчиво читал свои стихи каждому встречному. Большинство народа с сочувствием относилось к пробам пера Ивана Андреича и подбадривало:

— Складно составил, валяй дальше!

Скоро в торбе у Коптилкина рядом с бутылкой молока и варёными яйцами пристроилась большая хозяйственная книга — подарок колхозного кладовщика — и старательно заточенный химический карандаш. На обложке книги было выведено: «Стихи. Сочинения Ивана Коптилкина».

Сочинял он большей частью прямо на пастбище, предпочтительно в утренние часы. Разбредшиеся коровы едят жадно и споро, в воздухе стоит ровный весёлый

шум срываемой травы и непрерывный птичий щебет. Стадо потихоньку углубляется в лес. Иван Андреич идёт за ним и озабоченно бормочет пришедшие сами собой слова:

*Иду я за стадом
Вперёд и вперёд...*

Он раз десять повторяет эту фразу, стараясь приладить к ней что-нибудь. Перебирает слово за словом, сопит, посмеивается, иногда негромко чертыхается. И вдруг острая радость коротко и сильно окатывает его:

*А тени ложатся
В лесу поперёк.*

Иван Андреич твёрдо верил в своё призвание, и даже произошедший однажды смешной и обидный случай не мог его поколебать.

Как-то развёл он в пузырьке из-под лекарства свежих чернил, достал хорошей бумаги, долго пробовал, не задирает ли перо, потом, тщательно вырисовывая каждую букву, переписал несколько стихотворений и отослал в районную газету, подписавшись: Ив. Коптилкин.

— Деньгу зашибать хочешь? — сказал живший через дорогу кузнец Никифор. — Давай-давай! Этим писателям, говорят, платят лучше, чем кузнецам. Разве что одни печники больше ихнего зарабатывают.

— Не в деньгах дело! — осёк приятеля Иван Андреич. — Хочу перед людьми свою профессию превознести. Чтобы почтение было. А то вот ты, старый хрен, грохачешь своим молотком в кузнице и с усмешкой к нашему пастушьему племени относишься. А того тебе в копчёную голову не придёт, что по району-то из кузнецов ни одного поэта не вышло. Прикидывай!

Никифор прикидывал, но так за себя ни одного довода и не привёл.

Недели через четыре пришёл ответ из газеты.

«Дорогой Ваня! Мы с интересом прочли твои первые поэтические опыты. Из них видно, что твоя заветная мечта — стать чабаном, когда вырастешь. Ну, что же! Это очень хорошо. У нас все профессии почётны. Но для того, чтобы овладеть профессией чабана и мастерством поэта, нужно, Ваня, много учиться. А у тебя при письме встреча-

ются ошибки, да и запас слов пока невелик. Но, в общем, для твоего возраста похвально.

Желаем успехов в учёбе. Лит. сотрудник Белов».

По этому поводу Иван Андреич лично ездил объясняться в редакцию. Тощий прокуренный редактор долго юлил, уверял, что произошла ошибка, а напоследок, встряхивая обеими руками широкую кисть Коптилкина, льстиво сказал:

— Я думаю, у вас проза пошла бы лучше. Напишите, как в колхозе сортируют семена. Напечатаем без задержки.

Писал Коптилкин и в областную газету. Оттуда ему присылал ответы серьёзный специалист — консультант Кожин. Но его обстоятельные разборы удручали Коптилкина даже больше, чем выходка районной газеты. Консультант привередливо перебирал строчку за строчкой и ни одна из них ему не нравилась. Правда, один раз Кожин упрекнул Коптилкина в подражании стихотворению Пушкина «Анчар», и это наполнило Ивана Андреича гордостью, так как никакого «Анчара» он не читал.

С годами стал Иван Андреич дряхлеть и председатель уговорил его перейти на должность ночного сторожа. Работа плёвая: днём делать нечего, да и ночью хочешь — думу думай, хочешь — стихи слагай.

В газету стихов он больше не посылал, а читал их своей верной старухе Лукерьевне да Никифору, который неизменно интересовался творчеством друга, хоть и круто над ним иной раз подсмеивался.

Ещё любили его слушать ребяташки. Да и самому Ивану Андреичу приятны были те долгие разговоры, которыми он занимал вечерами рассеявшихся вокруг него пацанов.

— Пора вам, ребятки, — говорил он, — в красоту вникать, какая во всей природе в несметном числе раскидана. У которого человека к ней пристальность есть, тот всегда в душевном веселии находится. Вот вы сейчас сидите, по ушам себя от комаров бьёте и всё ваше занятие на этом кончается. А вы кругом поглядите: солнышко село, на нас сумерки пали, серо на земле, а в небе как будто сияние какое пролито. Ласточки мызжут. Благо-

дать. А облако над лесом видите? Одно оно на всём небе. Брюхо у него, заметьте, сиреневое, верх белый, как пена с кипятка, а по краям будто сизым окидано. Не красота нешто?

Ребятишки запрокидывали головы и смотрели в вечернее небо.

Подходил Никифор, здоровался и, как всегда, подливал ложку дегтя:

— А ведь Андреич-то, ребятки, не только по стишкам удался, он ещё и рисовать мастер. Он не сказывал?

— Н-е-ет! — оживлялись ребятишки.

— Ну-у! — тянул Никифор. — Он кого хошь срисует. Годов, чай, тому пятьдесят, как мы с ним вместе на свадьбу к старосте ходили. Все гости, как заведено, перепились, покувыркались да и заснули, кто как сумел. А Андреич достал из самовара уголь и всех как есть на стенках в непристойном состоянии изобразил. Ведь скандал ужасно какой был! Рассказывать, что ль, Андреич?

— Ну ты к шуту, — отмахивался Коптилкин и прикидывал на мальцов: — А вы домой дуйте, мне на службу пора. Этого болтуна до света не переслушаешь.

Как раз в эти годы произошло событие, которое высоко подняло поэтическую славу Ивана Андреича.

Как-то утром, когда он, вернувшись со службы, сидел у погребницы и пил ядрёный, стреляющий в самые мозги квас, на двор к нему вбежал своей характерной иноходью колхозный бухгалтер Мышкин.

Дело у бухгалтера к Коптилкину оказалось такого свойства. Его назначили редактором сатирического листка, и вот он теперь ударял челом, желая «привлечь к этой работе» Ивана Андреича.

— Ладно выдумывать-то! — польщённо сказал Коптилкин.

— Нехорошо получается, Иван Андреич! Человек вы всеми уважаемый, стихотворным слогом давно овладели. Как-то даже неудобно слышать от вас отрицательные отзывы.

— Кабы я помоложе был, — застенчиво произнёс старик, колукая ногтем присохшую к штанам крошку. — У вас, молодых, язык-то, небось, вострее.

— Это ложная скромность, Иван Андреич. Всем известно, что в смысле языка вы с Никифором Петровичем незаурядные остряки.

— А ты не подмазывай. Тебе листок выпускать, ты и выкручивайся.

Мышкин засмеялся:

— Я могу выкручиваться до вывиха позвоночника и всё равно у меня не получится. А вам стоит подумать пять минут и листок засверкает остроумием.

— Ишь ты! — Старик у очень трудно было удержаться и не клонуть на тонкую лесть Мышкина.

— Смилуйтесь, Иван Андреич! Всё общество вас просит. Даже на заседании правления об этом говорили. Я в протокол занёс.

Всё кончилось тем, что Мышкин ушёл, оставив Ивана Андреича одного с рулоном бумаги и с листочком, на котором были выписаны имена подлежащих бичеванию. Коптилкин долго сидел, озадаченный неожиданно свалившейся на него обязанностью. Приятное обольщение, вызванное словами Мышкина, продержалось недолго. Вместо него пришло раскаяние. Старик клял себя за податливость.

«Ну и хлюст! — думал он про Мышкина. — Ну и хлюст. Ведь так я осрамлюсь на всю деревню. И как это он ловко подъехал. А я-то, старая калоша, уши развесил! Послать бы его подальше с его листком».

Весь день Иван Андреич был «не в духах». Ходил хмурый, кряхтел, охал, не разговаривал с Лукерьевной и даже не ответил на приглашение Никифора посидеть на брёвнышке, покурить.

С тяжёлым чувством отправился он вечером на службу. Несколько раз прогонял соблазнительную мысль зайти к Мышкину, бросить ему этот проклятый свёрток. Придя на ток, Иван Андреич сел за стол учёчика, ниже повесил электрическую лампочку, смахнул с кособокоего столика крошки хлеба, махорки, откуда-то взявшиеся опилки, вытащил и долго заострял два карандаша и наконец с тяжёлым вздохом распахнул лист бумаги.

Сосредоточиться не давали долго. То пройдёт мимо баба, истошным голосом призывая заблудшую корову, то

кто-нибудь запоздалый проедет на телеге, то собака, не годую на собственных блох, найдётся сиплым лаем, то ещё что-нибудь.

Всё успокоилось только к полуночи. Старик встал, обошёл вороха хлеба и опять уселся за свой столик.

Материал Мышкин дал никудышный. Все факты были какие-то мёртвые. Например, тракторист Яшин с плохим качеством провёл сев. На поле много огрехов.

Старик вспомнил об этом самом Яшине. Беспутный парень! Один раз въехал па тракторе в деревню, бросил рычаги, улёгся на сиденье, высунул ноги в окошко и прока-тил так по всей улице. Хорошо ещё, что никого не задавил.

Иван Андреич начал потихоньку рисовать кабину трактора. Дрожит рука. Сколько уж лет не рисовал. А когда-то и впрямь мог изобразить что угодно. Он наклонился над листом и досадливо отвёл в сторону лезущую под карандаш бороду.

Иван Андреич не умел рисовать эскизных рисунков. Каждый болт и шуруп он выводил с фотографической точностью. Нарисовал торчащие из кабины сапоги. Большие, кокетливо положенные друг на дружку. На широких подметках пометил головки гвоздей. «Гм, — подумал он с удовольствием. — Не ушла ещё из рук сноровка».

Рядом с кабиной он нарисовал репей. Здоровый развесистый репей в полном цвету. Потом ещё один — поменьше, потом опять такой же. Скоро весь трактор оказался заросшим репейником по самую выхлопную трубу. Из зарослей торчало несколько стебельков пшеницы. Красные головки репейника нежно обрамляли торчащие из кабины сапоги. К рисунку нужна была подпись.

Он вспомнил, как когда-то на свадьбе рисовал по стенкам карикатуры. Отголосок той молодой озорной лёгкости пришёл к нему сейчас.

— Постой-постой! — сказал он сам себе. — Погоди-ка! — Он взял карандаш, нарисовал над облаками несколько галочек-птичек.

*Жавороночки летели
Над полем и плакали.
«Видно, тоже Яшин сеял,
Нет колосьев на поле!..»*

— Да погоди, окаянная! — Он опять откинул мешающую бороду. Нос у него стал мокрым. Сердце гулко и молодого стучало.

Откинувшись, он долго любовался рисунком и надписью, совершенно счастливый от приливших сил. Спустив пониже лампочку, он стал работать дальше. Киномеханика Антюхина, которого надо было «протащить» за пьянство, Коптилкин изобразил даже в трёх картинках и под каждой сделал подпись:

*Он по улице идёт —
Его в сторону несёт.
Он по улице спешит,
А его к земле тащит.
Он по улице шагает,
А его назад толкает.*

«Никифору первым делом покажу, — подумал он, — смеху будет!»

Особенно хорошо у него получилась птичница Агафонова, у которой, как писал Мышкин, «низкая яйценоскость». Иван Андреич нарисовал её с широченной улыбкой, с большими, томно скошенными глазами. В руках она держала поднос с двумя сиротливо лежащими яйцами. Подпись гласила:

*Все доходы налицо:
На семь кур одно яйцо.*

Только под утро художник разогнул спину. Никогда его не охватывала такая сладкая усталость. Он встал из-за стола и потянулся, хрустнув суставами. От свежего утреннего воздуха кружилась голова.

Утром в правлении колхоза творилось что-то невообразимое. Вокруг вывешенной стенгазеты стояла большая толпа гудящих, галдящих, хохочущих, голосащих читателей. Над головами, как туман над лесом, висел густой папиросный дым.

— Ловко!

— Знатно!

— В самое яблочко!

— Ай да Коптилкин, провёз их с колокольцами!

Настя Агафонова припёрла председателя колхоза к стенке и наседала на него отчаянно и решительно:

— В газете человека легче всего протащить! Вас тоже можно нарисовать, смешнее меня получится. Сколько раз я говорила: ремонтировать надо курятник. Она ведь, курица, ваших указаний не слушается, нырнёт в дыру и несётся в подсолнухах. Ясное дело, одно яйцо на семь кур прийдётся. Да и то ещё отыскать надо.

Тракторист Яшин смеялся громче всех, но видно было, что делает это он для того, чтобы не подумали, будто его задели рисунок и подпись в газете.

Но больше всего смеялись над карикатурой Мышкина, который, к величайшему его удивлению, тоже попал в газету. Смысл карикатуры был следующим. В правлении на лавке стояло ведро с водой для питья. Вот уже месяц, как куда-то потерялась кружка, а другой принести до сих пор не догадались, предоставляя посетителю изловчаться как угодно. В газете был нарисован человек, засунувший голову в ведро. По характерному шилообразному задку все узнали Мышкина.

Иван Андреич сидел на лавке и курил. Он с наслаждением слушал этот шум, чуть-чуть кивал головой в ответ на приносимые похвалы, улыбался, слушая речь обиженных.

Сегодня он впервые почувствовал себя настоящим поэтом.

Верзилиха

Идол, как известно, существо, которому поклоняются. Колхозный конюх Павел Тимофеевич, должно быть, вкладывает в это понятие несколько иной смысл, когда, ударив по костлявому маклаку своего апатичного мерина, сурово покрикивает:

— Но-о, идол!

«Идол» с сухим свистом бьёт себя высекшимся хвостом по рёбрам, прядает ушами и презрительно фыркает.

— Не любишь скорость, одра окаянная, — ругается Павел Тимофеевич, — а сенцо жрать любишь? Овёс любишь, мосластая прорва? А того понятия не имеешь, что-бы рысцей прогуляться? Вот я уже кнут на тебя заведу, анафема!

И он опять хлопает мерина вожжой.

С Павлом Тимофеевичем мы познакомились на станции. Я сошёл с приткнувшегося здесь на минуту поезда и, оглядываясь, стоял на перроне с чемоданом в руке. Добросовестно поработавшее за день июльское солнце устало тонуло в красивом пухлом облаке. По земле протянулись прохладные тени. В стоящей поодаль телеге сидел, свесив ноги, пышноусый старик когда-то богатырского сложения. С минуту он скептически изучал меня, а потом протянул басом:

— Э-э, да это ведь никак агроном наш новый! Небось в Благодатовку пробираешься?

Я подтвердил оба его предположения.

— Ну, в таком разе садись в карету, с ветерком прокачу, лошадь-то у меня — огонь!

Минут через десять, когда мы на нашем огневом тягле преодолели первую версту, я оторвал своего возницу от бесконечного и, видимо, привычного для него разговора с лошастью:

— А почему это вы угадали во мне агронома?

Павел Тимофеевич зажал конец вожжей под мышкой и, освободив себе руки, стал ладить из газетного клочка козью ножку.

— С тех пар, мила душа, как Кузьма Антоныч помер, мы этих агрономов столько перевидали, что узнаём без промашки. За два-то года ты у нас четвёртый будешь, через малое время пятого жди.

— Простите, — пожал я плечами, — откуда же такое убеждение?

— Бог тебя простит, милоч, — с ласковым сарказмом заметил Павел Тимофеевич и, раскурив сигарку, выпустил из ноздрей две с фиолетовым оттенком верёвки дыма. — Не обинуясь, скажу: не видно в тебе крестьянской косточки. Может, обижаться будешь, только я уж с первого взгляда определяю.

— Каким же образом?

— А вот, перво-наперво, ты в телеге сидишь, заметь, не по-нашему. Вольности в теле нет. Сам весь сугорбился, ноги поджал, коленки руками обхватил. Ни дать ни взять — в тюрьму едешь.

— Ну, это дело поправимое, — засмеялся я и, разогнув ноги, упёрся ими в грядку телеги. — Такая поза устраивает?

Павел Тимофеевич снова пыхнул сигаркой и теперь уже не верёвки, а некие голубые ручейки тихо заструились по коричневым дорожкам, проложенным в прокуренных усах.

— Бывало, Кузьма Антоныч на что уж почтенный человек был, и то галстук привязывал только как в район ехать или по другой какой важности. А ты, вишь, в дорогу его надел, ин, значит, лёгкость в тебе этакая есть, вроде как барство. Вот и выходит, что на настоящего-то агронома ты не похож. Нашего земляного духу в тебе не вижу.

Эти, по внутреннему моему убеждению, несостоятельные доводы Павла Тимофеевича очень меня расстроили. Я маленьким языком поругивал Петьку Зуева, который, провожая меня из общежития, внушал:

— Смотри, без галстука в деревню не заявись. Марку держи. Будь представительным мужчиной. Там по одежке встречают.

Будь он неладен, этот Петька!

Между тем всё больше и больше темноты растекалось в вечернем воздухе. Словно бабочки в синем окне, затрепетали в небе первые звёзды. С другого края поднималась и тяжело дышала грозовая туча.

— Почему это от вас агрономы-то бегут?

Павел Тимофеевич поворачивает ко мне посуровевшее лицо.

— А не от нас они, мил человек, бегут. От народа они от своего бегут. От себя бегут, стало быть. — И, помолчав, добавляет: — Земля у нас трудная — бывшее болото. Бьёмся с ней много, а урожаями ещё не похвалимся. Кто славы да больших денег у нас ищет, тот и бежит от нас. Мы вроде как пробный камень: об нас ткнулся — согнулся, ну и беги. На чернозёмы подавайся, там героем будешь. Только там хлебушка-то и без тебя неупроорот.

Когда показалась Благодатовка, была уже поздняя ночь.

— Грозы не миновать, — сказал Павел Тимофеевич, — ноги у меня мозжат.

К занимавшейся с вечера туче прибавилась другая. Теперь они неторопливо сходились, словно створки громадного занавеса. Запахи стали так свежи и явственны, словно с обоняния сняли повязку. Сильно, как обычно перед дождём, пахло пылью. Налетевший далёким дыханием бури сырой ветерок предсказывал, сколь непрочна установившаяся вокруг мёртвая тишина. Ещё не блеснуло ни одной молнии: всё было впереди. Мы остановились в пятистах метрах от деревни, у колхозного двора, и стали распрягать лошадь.

— Дядя Павел! Дядя Павел! — на нас неизвестно откуда налетела девушка в белом, измазанном свежей грязью халате. Платок у неё съехал на плечи, волосы растрепались. — Дядя Павел, опять беда на мою голову! Верзилиха в болото втюрилась!

Павел Тимофеевич, начавший развязывать супонь, с удивлением посмотрел на неё и в сердцах сплюнул:

— Черти бы съели твою Верзилиху. Всеми колхозу пока не даёт проклятая корова. Что ни день, то новый фокус! Где это её угораздило?

Девушка, всхлипывая, принялась рассказывать:

— На старой гати... Пригнали сегодня стадо, я смотрю, нет Верзилихи... Кинулась туда и сюда — нету. Подошла группу, пошла искать. Весь лес обегала... Сейчас иду мимо старой гати, кричу её и слышу: мычит. Полезла я к ней, а у неё только голова да передние ноги торчат. Честное слово, сейчас утонет.

— Сколько раз говорил председателю: давайте сдадим эту долговязую блудню на мясо. Всё равно проку от неё, как от козы. Нерентабельно, слышь. Вот утонет — будет рентабельно. Вспомнит мой совет.

Павел Тимофеевич опять затянул супонь и приказал:

— Беги за мужиками, что ль, вытаскивать надо.

Девушка всплеснула руками:

— Досуг ли бегать, дядя Павел! Пока бегаешь, её и затянет! Поедем, может, жерди под неё подсунем.

— А жерди подсунуть мужиков не надо? — закричал вдруг Павел Тимофеевич. — Я тебе подъёмный кран, что ли? Взяли моду: чуть что — к дяде Павлу бежать. Будто дядя Павел двужильный!

— Так, стало быть, пропадай колхозное добро? — взорвалась девушка. — Тони народная корова, да?

Она обратила внимание на меня, стоящего с чемоданом у телеги.

— А этот чего стоит, как истукан? Он что, не мужик, что ли?

— Какой он мужик, — буркнул конюх, — это агроном новый.

— Что за глупости?! — закричал теперь и я. — Я готов помогать, я тоже могу жерди подсовывать.

К Павлу Тимофеевичу вернулся прежний начальственный тон:

— Ну, тогда лезьте в телегу, нечего рассусоливать!

Я вскочил в телегу. Уцепившись за мою руку, влезла и девушка, взгромоздился Павел Тимофеевич, и мы все, стоя и держась друг за друга, покатали спасать Верзилиху.

Небо, должно быть, решило сфотографировать этот момент. Магниевым светом блеснула молния. На фотографии запечатлелась белеющая невдалеке Благодатовка, колхозный двор, чёрные телеги, устало раскинувшие

оглобли, мой чемодан, оставшийся одиноко стоять возле самой дороги. Скоро над нами запели комары, потянуло сладкой болотной сыростью и под колёсами начало хлюпать. Павел Тимофеевич больше не называл нашего конягу идиолом.

— Но, милый, — приговаривал он, — ещё маненько, ещё чуть-чуть.

Тося (я узнал имя девушки), держась за моё плечо, указывала дорогу.

— Тпру! — закричала она, когда мы въехали в болото по самые ступицы. — Здеся!

Хлюпанье кончилось и мы услышали не мычание, а полные смертной тоски коровьи стоны.

— Сейчас, миленькая, сейчас, — запричитала Тося, — сейчас мы тебя, золотая моя, тащить будем.

— Слушай, Антонида, — заявил вдруг Павел Тимофеевич. — Хошь совестись, хошь нет, а я до исподников разденусь. Одежу мне негоже марать — загрызёт старуха.

— Вот нашёл время разговаривать, — махнула Тося рукой. — Стыдливый какой! Ясное дело, раздевайся. А ты что, в штиблетах в топь полезешь? — напустилась она на меня. — Снимай свои причиндалы, живо! Возьтятся, как сонные...

Мы быстро разделись и остались: я — в брюках, он — в подштанниках.

— Снимай и штаны, — строго приказала Тося.

Я готов был провалиться сквозь землю и отказывался хриплым от смущения голосом:

— Да ничего... Спасибо... Не беспокойтесь... Их уже всё равно скоро чистить.

— Снимай, снимай, — посоветовал Павел Тимофеевич, — один чёт.

В конце концов я остался в одних трусах. Далёкие молнии часто освещали мою не особенно атлетическую фигуру.

— Осторожно, сами-то не вплюхайтесь, — предупредила Тося, когда мы стали пробираться к жалобно мычащей корове. — А то потом ещё вас вытаскивать!

Ноги то и дело уходили выше колен в цепкую пузырящуюся болотную жижу. Следы позади нас заплывали с

чавканьем, словно болото ханжески сожалело о лезущих в его пасть жертвах. Сожалело и вздыхало, источая сладковатую вонь. Комары безжалостно набросились на нас, как будто мы пришли их грабить.

— И зачем ты сюда, беспутная животи́на, полезла? — спросил Павел Тимофеевич, подойдя к Верзилихе. — Али тут мёд какой?

Корова повернула к нам белеющие в темноте рога: му-у-у.

— От жары она спасалась, — заступилась за неё Тося.

Верзилиха ушла в болото задними ногами и теперь её затянуло по самый крестец. Только спина, передние ноги да голова выдавались над топью.

— Глубоко она, под неё и жерди ни шута не подсу-нешь. Тут только что верёвку подвести. — Старик снял с плеча свёрнутые в кольцо вожжи. — Под грудь ей сперва подсунуть надо, а там дальше протянем.

Он осторожно стал обходить корову с головы.

— Ух ты! — по-бабьи вырвалось у него, когда он провалился до пояса. Выбравшись, Павел Тимофеевич про-изнёс, словно оправдываясь: — Тут, едрёна мать, и самому утонуть недолго!

Наконец он подобрался к Верзилихе с другого бока и начал просовывать конец вожжей в нашу сторону.

— Ловите там!

Мы с Тосей стали на колени (собственно, легли в болото), погрузили руки в трясину и начали шарить под коровьим брюхом верёвку. Лица наши были совсем рядом.

— А ты ещё раздеваться не хотел, — сказала Тося напряжённым от усилия шёпотом. — Пропали бы твои штаны.

Я собирался что-то ответить ей, но моя левая рука сорвалась с опоры и я плюхнулся в вонючую грязь прямо лицом. Тося, помогая мне подняться, не могла удержаться от смеха.

— Не чирните там! — подал из темноты голос Павел Тимофеевич.

— Поймала! — закричала наконец девушка, вытаскивая из-под коровы грязный конец верёвки.

Мы встали на ноги, тяжело дыша.

— Вытришь о моё плечо, — предложила Тося, — там у меня ещё живое место осталось.

Я подошёл к ней и потёрся лицом о халат.

Когда вожжи были проташены поближе к задним ногам коровы, она, словно озарённая внезапной надеждой, завозилась. Мы налегли на концы, Верзилиха дёрнулась, заревела и беспомощно забарахталась в топи. В это время первая настоящая, ветвистая, как дерево, молния шарахнулась по небу и молодой самоуверенный гром оглушительно расхохотался над нашими усилиями.

— Надо доску из телеги принести, — решил Павел Тимофеевич. — Встать на доску-то да за хвост её, окаянную, потянуть: зад у неё уж очень увяз.

На доску решили поставить меня. Молнии, терзающие теперь каждую минуту небо, фиолетово освещали живописную группу — барахтающуюся в грязи корову и троих тянущих её перемазанных людей.

— Ра-аз, два — взяли! Ра-аз, два — взяли! — командовал Павел Тимофеевич.

Я поскользнулся на своей доске, выпустил мокрый Верзилихин хвост и, взмахнув руками, плюхнулся в болото навзничь.

Гра-ха-ха — захохотал гром.

— Слушайте! — взвыл я, выбираясь опять на свою доску. — Какого чёрта мы тут надрываемся, а лошадь на берегу стоит! Она что, тащить не может?

Эта простая мысль поразила Павла Тимофеевича.

— Эх-ма, — крикнул он, — а ведь парень-то, кажись, дело толкует. — И болото зачавкало, провожая его к берегу, если так можно назвать то место, где стояла наша телега.

Первые крупные капли дождя застучали, словно падающие гривенники.

— Ты близко-то не подводи, — закричала Тося конюху. — Лишь бы вожжей хватило!

Мы привязали конец вожжей за гужи распряженной лошади. Павел Тимофеевич взялся за повод, я, как специалист по хвосту, опять встал на доску, Тося толкнула Верзилиху ногой (ну, вставай), и мы все зашумели, загалдели, понукая напрягшегося мерина.

— Подаётся! Подаётся! — радостно закричала Тося. Болото отпускало корову. Ещё немного, и она уже, спотыкаясь и падая, влекомая лошадьё, потащилась из трясины. Когда мы вывели Верзилиху на твёрдое место, ноги её дрожали и вся она мелко-мелко тряслась. Накрапывавший дождь усиливался и скоро с неба полетели сплошные гудящие стрелы.

— Ишь как нагрубло у неё, — произнесла Тося и, присев под корову, стала сдаивать молоко, распирающее вымя. Верзилиха благодарно оглядывалась на Тосю, тыкалась ей мордой в плечо, а Тося говорила что-то ласковое, успокаивающее.

Я стоял и с наслаждением подставлял свежему пахучему дождю перемазанное лицо.

У скотного двора я забрал чемодан и мокрую одежду. Павел Тимофеевич пригласил меня ночевать. Мы так и шлёпали, голые, до самой Благодатовки.

— А ты бы сейчас стакашек царапнул? — сквозь шум дождя спрашивало идущее впереди меня привидение в подштанниках.

— Царапнул бы, — засмеялся я.

— У меня дома шкалик припасён для всячины.

— Хорошее дело, — одобрил я и, поскользнувшись, плюхнулся на дорогу.

— Эх, назола, — добродушно проворчал старик, подавая мне руку, и сам грузно плюхнулся рядом.

— Ну что, — хохотал я, — есть теперь во мне земляной дух?

— Нету, так будет, — поднимаясь, ответил Павел Тимофеевич. — Это, брат, дело наживное, я так понимаю.

В чёрном небе ломались синие копыя.

Смерть Игната Струнникова

Конец сентября был дождливым, холодным и ветреным, а в октябре настала самая хорошая для Игната погода. Пришли дни, полные ясного бодрого света, с немой тишиной в загоревшихся лесах, с печальным полётом паутинных нитей, с картавым бормотанием речной воды.

Что-то похожее на эту осеннюю ясность и благодать установилось в душе Игната.

«Баста! — думал он с радостью за самого себя. — Всё теперь брошу. Пора уж мне. Матершинничать брошу, водку на дух не надо. Може, с Натальей сойдуся. Не всё, чай, бродягой жить».

Седьмой год уже бродит далеко от родимого дома Игнат Струнников. Каждую весну берёт себе в товарищи трёх-четырёх лёгких удалых людей и идут они с топорами от села к селу, выпытывая, не надо ли кому-нибудь построить избу, перебрать сарай, покрыть крышу. Найдя работу, истово по полдня рядятся о цене, выбрав где почище, кидают на землю фуражки, предупреждают хозяина:

— Смотри, мужик, нас ещё в три места звали. Ты таких мастеров, может быть, первый раз в глаза видишь. Мы ведь охулки на руку не кладём.

Сторговавшись, пьют магарыч, перебивая друг друга, разговаривают, опять хвалятся перед хозяином, но песен не поют: разные они люди и песни у них разные.

Спят на воле, где-нибудь на сеннике или в амбаре. В первую ночь перед сном вполголоса договариваются:

— Тянуть будем или поскорее разделаемся?

— Поглядим, как кормить будет, а то и потянем!

— Главное, робя, узнать, нет ли тут вдов подходящих...

Всегда само собой получалось, что душой этих бродячих артелей становился Игнат. Сноровистый и ловкий в работе, он был для своих товарищей затейником, весельчаком и балагуром, забавлял их солёными побасёнками, смешил тем, что любому слову или обстоятельству мог придать неприличный оборот и смысл.

Игната самого удивляла эта его особенность. Отроду хмуроватый и неразговорчивый, он, шатаясь по земле с людьми, такими же, как он, изворотливыми и предприимчивыми, сделался болтливый, развязным, цинично находчивым. Стоило ему только познакомиться с людьми, как он уже искал подходящий момент, чтобы сказать:

— А што, робя, рассказать вам, как я первый раз женился?

Постоянная забота поддерживать репутацию ухаря и острослова утомляла Игната. Иногда, оставшись наедине с собой, он чувствовал нечто вроде стыда и раскаяния, но наутро опять, поощряемый товарищами, начинал паясничать.

Деньги Игнат зарабатывал легко и быстро, но ещё быстрее и легче он умел их проматывать. Этому сильно помогала усвоенная им роль весёлого гуляки и прожигателя жизни. Иной раз и не хотелось выпивать, но он чувствовал себя обязанным подбивать артельщиков:

— Нутро, соколики, размочить бы надо. Зачерствело чегой-то!

— Да уж и так сколько этих денег пропили.

— Ха, деньги! Али они дороже нас?

Поднимая стакан, любил мудрствовать:

— Ничего нет, робя, для человека драгоценнее водки. А что? Молодость — она проходит. Любовь тоже кончается. Дружба, что ли? Мы вот поработали да разошлись. А водка — она всегда. Сирого успокоит, счастливого усладит. А главное, купить её можно. Так-то, братцы мои.

Разнообразная вроде бы жизнь была у Игната, но шла она одним и тем же кругом, как лошадь в водиле. С весны, когда собиралась артель, наступало самое красное время: шевелились в кармане деньги, менялись деревни, люди; одна за другую заходили выпивки, веселила душу плотницкая работа, которую Игнат любил.

С утра пораньше, когда солнце ещё не печёт, воздух свеж и прохладен, а с травы не ушла роса, любил он сидеть верхом на золотом сосновом бревне где-нибудь на самом верху недостроенной избы и с сочным чавканьем всаживать полыхающее лезвие топора в духовитую древесную плоть. Хорошая это пора!

А потом приходила осень, артель распадалась. Надо было где-то устраиваться на зимовку, ждать новой весны. Каждая осень заставляла Игната всё более и более разбитым и усталым, приносила горькие мысли о том, что годы его уже не молодые и что рано или поздно надо прибегать к какому-то берегу.

Был когда-то у Игната и свой дом, и жена, с которой он жил мало и бросил окончательно, когда ему минуло шестьдесят. За все эти годы он не послал ей ни рубля (хорошая баба сама себя прокормит) и ни одного письма. Работал он прежде в колхозе, но, когда со временем стали ему там «наступать на хвост», не пускать на заработки, тискать в какую-то строительную бригаду, он совсем ушёл из деревни.

Ещё с позапрошлой осени стал замечать Игнат, что у него не всё ладно со здоровьем. Страшно кололо иногда и заваливало грудь, давило сердце и холодной водой окатывали внезапные приступы страха. Особенно плохо было после выпивок. Он лежал, боясь пошевелиться, и вслушивался в удары сердца, которое, казалось, вот-вот остановится. Вместе с болью он ощущал смертную, ни с чем не сравнимую тоску. Раньше такую тоску испытал он, когда однажды нечаянно убил колхозную лошадь. Обозом ездили тогда с мужиками за лесом. На обратном пути приходилось спускаться с горы и у ехавшего сзади всех Игната вдруг лопнула вставленная для тормоза в задние колёса палка. Разомчавшаяся лошадь со всего размаху налетела грудью на острый конец слегы передней подводы. Упала не сразу, а ещё скакала вгорячах сажен сто.

И тогда нестерпимая тоска, похожая на ту, которую он испытывал сейчас, сдавила ему сердце. Когда он пришёл домой, Наталья уже всё знала. Она ни слова не сказала Игнату, а когда он сел на лавку, свесив голову, вдруг молча обняла его и, как мальчишку, прижала лицом к своей полной, успокаивающе-тёплой груди. И громадное бремя

рухнуло и покатилося с души Игната. Он глубоко вздохнул, словно наплакавшийся ребёнок, и подумал: чего же убиваться теперь, али уж не расплатимся?

И от этой её ласки сразу отлегло на душе. Как свежо вспоминалось, как жаждалось иногда Игнату испытать вновь ощущение этой лёгкости в сердце.

«Повинюсь, — думал он, — чай, не выгонит. Небось ей тоже без мужика-то не сладко. Пойду утре на станцию, сяду на поезд, к воскресенью дома буду. Платок куплю шёлковый. Хватит, наскитался. Заживём, как люди. Не опоздано ещё».

До станции было километров восемь. Дождаться машины Игнат не стал, пошёл пешком по малоезженной, взявшей муровой дороге, усыпанной бледными листьями. Осенний лес весь был залит несильным светом низкого солнца и молчал в грустном забытии и оцепенении. В этой тишине отчётливо слышались и стеклянные звуки посвиста редких синиц, и далёкий, но отчётливый стук дятла, и шелест листа, который, вдруг сам по себе сорвавшись с дерева и медленно кувыряясь, долго летел, выбирая, где ему лечь.

«Приволье-то какое! — думал Игнат, глядя по сторонам. — Солнышко, птички чувикают. И что это за вредное семя такое — человек. Водку пьёт, скверные слова из себя производит, деньги какие-то ему надобны. А не замечает совсем того, какая крутом чистота природы распространяется. Меня хоть возьми. Да я и в лесу-то был каждый раз выпимши. Эх, слепота».

Игнат стал представлять себе, как он придёт домой, подойдёт ко двору, просунет в потайную щель руку и сам откроет калитку. Наталья, наверное, возится в эту пору на дворе с курами. Разогнувшись, долго будет с любопытством и испугом глядеть из-под ладони на странного, поседевшего, обросшего бородой Игната. Вот тут-то он и скажет ей: хватит, поскитался. Принимай, мол.

Ну, поплачет, конечно, Наталья, а потом станет под таганком на шестке разводить огонь из сосновых лучинок, жарить яичницу, вытащит невесть когда захороненную бутылку. «А я ведь в рот не беру», — скажет Игнат. «Да, чай, и я не запилась, — с грубовато-ласковой на-

смешливостью ответит Наталья, — хоть со встречей проздравимся...». — «Только нешто».

Они вдвоём, без гостей, выпьют по рюмочке и споют их любимую старинную песню: «На заре было на зореньке, на заре на красной утренней». И пройдут тогда все сердечные боли у Игната.

А потом пойдёт к председателю: «Хоть засуди меня, а из деревни никуда не пойду. Работу давай. Прикрепи мне ребят помоложе, я тебе из них спецов сделаю по первой самой статье».

«Чай, ещё не опоздано, — думал Игнат, перекидывая мешок с плеча на плечо. — Раз решил человек на путь встать, должны это взять во внимание...»

За поворотом Игнату неожиданно загородил дорогу тарантас с выпряженной лошадью. Какой-то белобрысый широкоплечий малый стоял на коленках возле тарантаса и возился с хомутом, пытаясь приделать развязавшийся гуж.

— Дяденька, — сказал малый, — ты мне не пособишь ли? Чёрт знает как эти гужи завязываются. Я машину тебе разберу до последней гайки, а тут, понимаешь, какая-то китайская механика — две дырки, два конца, а как завязываются — бес их знает. Ты не знаком ли с этой математикой?

— Как же не знаком, — обрадовавшись чему-то, сказал Игнат, — вырос на этом деле. Ну-кась дай!

Он положил мешок на землю и в одну минуту ловко связал гуж.

— И штука-то нехитрая, — заметил он. — Давай опять распустим, а ты завяжи сызнова.

— Ну его к богу, — опасливо сказал малый, — я и так уж тут полчаса практикуюсь. Мне на станцию надо к поезду поспеть. Тёща из города едет.

Кончив запрягать, малый отдал вожжи Игнату, они уселись, и сытая лошадь легко и бесшумно понесла тарантас по мягкой дороге, изредка задевая дугой за нависающие ветки.

— Ты где работаешь, что ли, дед? — завёл разговор малый.

Игнат подумал и сказал неохотно:

— На пенсию вышел!
— Во жизнь теперь тебе будет!
— Больно-то не завидуй. Её, пенсию, незадаром дают, поработай с моё.

— Да я не о себе говорю. Тебе, говорю, красота теперь будет: ходи за ягодками...

— А то у меня брательник вот так же, — продолжал Игнат, — работал, работал в колхозе, а потом попала шлея под хвост, ушёл на сторону, шабашничал, как последний сукин сын, семь лет, теперь воротился, пенсию давай хлопотать. Разве могут ему её дать?

— Кто знает, — пожал плечами малый, — это как собес решит.

— Али дают таким-то?

— Да сейчас, как ни посмотришь, все получают. Возможность не исключена, и ему дадут, тут стаж важит.

— Да стаж-то у него вся жизнь — стаж, — торопливо проговорил Игнат, — кабы эти семь-то лет, говорю, не повлияли.

— Не исключена возможность, — сказал опять малый.

Они выехали из леса. Впереди засинела четырёхугольная глыба элеватора. Малый поглядел на часы и взмахом руки пугнул лошадь.

— Мы ещё, дед, пива успеем в буфете выпить. Мне жена три рубля дала на повидлу, да, я думаю, взвешивать-то она её не будет.

На станции, медленно двигая масляными локтями, шумно пытели паровозы, выпуская из трубы сипящие тучи пара. Иногда какой-нибудь паровоз дико взрёвывал и рёв этот долго катился над окрестностью, пока не скрывался за лесом. Высокий худой дежурный, стоящий у путей с поднятым вверх грязно-жёлтым флажком, обернулся через плечо и закричал, увидев подъезжающих:

— Вы прекратите здесь своих лошадей привязывать?! Убирать за ними некому. Вон где им место!

— Да мы на минутку, — сказал малый и привязал-таки лошадь там, где не было велено. — Ну что, дед, — сказал он, — пойдём пивом позабавимся?

— Я ведь не охотник, — как-то жалко сморщившись, проговорил Игнат.

— Да мы помаленьку, не пропьём твою пенсию, не бойся.

Поколебавшись, Игнат вскинул мешок за спину и пошёл за крупно шагавшим малым, думая, что если сейчас выпьет пива, то его поведёт на водку. Игнат ругал себя последними словами, но остановиться, повернуть назад у него просто не было сил. Лёгкость и благость, которые он чувствовал в лесу, исчезли, и знакомая тоска плитой повисла над ним.

В буфете стоял дым от курева, как туман в бане. Люди теснились за столиками, их говор и глухой дребезг кружек сливались в однотонный шум, из которого с трудом вырывались отдельные возгласы. Всей этой «симфонией» уверенно управляла полная буфетчица в грязном, мокро на животе халате.

Малый разыскал свободное место в углу, оставил Игната стеречь это место и скоро возвратился с двумя кружками пива.

— Потом повторим по одной, — объяснил он. — С тебя, дед, полтинник приходится. А может, на четвёрку сгадаем?

— Не надо, — вяло сказал Игнат, чувствуя, что если малый будет настаивать, то он согласится.

— И то правда, — сказал малый, — а то я, как заведусь, размотаю всю повидлу.

От шума, тесноты и отвращения к себе Игнату сделалось нехорошо. Он отпил несколько глотков пива, но от пива почему-то ему стало ещё хуже и тошнее.

— Ты чего, дед, позеленел? — спросил малый. — Что-то тебе пиво не на пользу. А я люблю!

— Ты гляди, — неожиданно для себя сказал вдруг Игнат, — жизнь-то свою не разматай, как повидлу.

— В честь чего это? — обиделся малый.

— В честь того! Гужа, елова шишка, завязать не можешь, а чуть из дому вырвался — в кабак.

Малый оторопел:

— Да ты что за указчик?

— Жил поболее твоего — потому и указчик. Брательник у меня так же: сперва кружечку да чекушечку, а теперь думает: эх, сначала бы жизнь-то повернуть! А разве она вертится?

— Ты всех с брательником своим не равняй. Мало ли их, пропойц, ходит.

— Да ты не серчай, — уже другим тоном сказал Игнат. — Просто жалко мне тебя. Молодой ты. Чай, тебе кажется: много у меня ещё времени, на всё хватит — и в кабаке посидеть, и на другое чего. А ведь оно, парень, текёт! Ручьём текёт время-то. Оглянуться не успеешь, согнёт тебя в дугу, не краше меня вот будешь. Жизнь, она, брат, так с человеком обходится: выложит перед ним своё добро — и безделушки тут, и самонужнейшие вещи, а ты уж выбирай как знаешь. Бывает, что до самой старости безделушками забавляешься...

— Не надо бы мне тебя звать сюда, — в сердцах сказал малый, — весь ты мне аппетит испортил.

Он допил кружку, взял у буфетчицы сдачу и, не прощавшись с Игнатом, вышел на улицу. Игнат поднял мешок и пошёл за ним. Боль у него в груди всё усиливалась и, главное, тоска всё чернее и чернее нависала над ним, душила.

Он взял в кассе билет и до прихода поезда сел отдохнуть на скамейку. Ему хотелось лечь, но он стеснялся. Уткнул лицо в растопыренные рогулькой пальцы, долго сидел так и вдруг почувствовал, как медленные слёзы текут по подкрылкам носа.

Минут через десять долговязый дежурный тронул его за плечо:

— Гражданин, поезд подходит, — и, увидев лицо Игната, спросил встревоженно: — Что с вами?

Игнат ничего не ответил, взял мешок и пошёл к платформе.

В вагоне народу было немного. Он нашёл себе место, долго и равнодушно смотрел в окно. Потом лёг на лавку. Поезд дёрнулся, больно отозвавшись во всём теле Игната, и, громыхая на стыках, раскачивая вагон, стал набирать скорость. И вдруг знакомый тяжёлый страх охватил Игната. Ему показалось, что он умирает. Игнат встал, осторожно, еле держась на ногах, прошёл в тамбур.

«Неужели не доеду?» — подумал он.

Перед глазами Игната встала Наталья, его молодая и ласковая жена, и грудь наполнило ощущение той давней

минуты, когда она обняла его, как мальчишку, и прижала лицом к полной, успокаивающе-тёплой груди.

— Доехать бы, — проговорил вслух Игнат.

Он вернулся в вагон и опять лёг на лавку. Напротив женщина кормила с ложечки ребёнка, тот вертел головой и выплёвывал себе на подбородок кашу.

«Неслух какой!» — зачем-то подумалось Игнату.

Он закрыл глаза и вдруг та тяжёлая тёмная плита, которая висела над ним, обрушилась ему на грудь и сжала, остановила дыхание.

Он уже не слышал, как женщина трясла его за плечо, как с громким криком побежала куда-то и как потом врач долго щупал его мёртвую руку.

...В мешке у него нашли топор, грязное бельё и новый женский платок, а в нагрудном кармане — паспорт без прописки, двадцать рублей пятёрками да ещё мелочью сколько-то.

Запах росы

«Улица расходилась... Опустел гладко вытолоченный пятачок у Ермолаевых брёвен, стали замолкать смех и гомон, дробясь, растекаясь улицами, переулками, угасала девичья песня. Несколько времени ещё слышалось, как то тут, то там глухо и отчуждённо, словно отрубая что-то, хлопала калитка, а потом всё смолкло. Дремотная тишина нависла над деревней, слабо и редко озаряемой бледными сполохами августовского лета.

Петька Чилигин сидел на перевёрнутой колоде возле своего палисадника и тихонько наигрывал на гармошке вальс «Златые горы». Ночью звуки гармонии казались особенно чистыми и прозрачными, и от этого в Петькиной душе подымалась сладкая волна лирического вдохновения, так что весь вальс до конца получался у него очень хорошо, даже в тех местах, где надо было делать быстрые переборы четырьмя пальцами, включая и мизинец.

Петька наслаждался. Ему хотелось заиграть громче, но он боялся, что отец, как обычно, высунется из открытого окна в смутно белеющей исподней рубашке и прогудит недовольно:

— Ты спать дашь, нет? Вон иди на зады да там и тырлыкай. Рыпит по всем ночам.

Отец у Петьки был строгий. «Крутой», как говорила мать. В детстве мать чуть не каждый день давала Петьке подзатыльники, но он не видел в этом ничего оскорбительного. Отец и побил-то всего раза три, но каждый раз это выливалось в невыносимый позор. Два года назад, когда Петьке уже стукнуло пятнадцать, отец при всём народе, при всех ребятах и девочках, дал Петьке две тяжёлые мужицкие оплеухи за то, что тот снял со стенки его карманные часы и пошёл пофорсить.

До сих пор помнит Петька, как он прямо-таки катался на низком топчане в кладовке, где всегда спал летом, как его били рыдания, как разрывалось сердце от нестерпимой обиды.

«Убегу! Убегу из дому! — думалось ему. — Пусть поищут».

А к утру вроде бы отошло. Проплакался. И отец сказал как ни в чём не бывало:

— Зачем тебе сейчас часы, дурак. Вот школу кончишь и носи тогда...

...На другом конце улицы кто-то дико и пронзительно свистнул. Петька подумал и ответил свистом. Минут через пять подошёл долговязый веснушчатый до последней степени — даже в темноте видно — Шурка Заботин.

— Не спишь ещё? — спросил он, небрежно поигрывая тоненькой веточкой. — Я вот хожу один. Домой идти неохота до смерти. Я знаю, где девки на поветях спят. Пошли напугаем!

— Пошли! — оживился Петька. — Я только гармонь положу.

Он отнёс гармонь в кладовку, осторожно прикрыл за собой скрипучую калитку двора и они пошли.

Крепко хлопая крыльями, кричали по дворам петухи. Молоденькие кочеты, подражая старшим, тоже пытались петь хриплыми, будто придавленными голосами. Шурка умел замечательно передразнивать их и теперь, задрав голову и вытягивая длинную шею, пел кочетом. Петька смеялся. Настроение у него было светлое, праздничное. Казалось, медленные зарницы освещали не только улицу, не только покойно темнеющий лес внизу под горой, но и самую его душу. Чистый, холодно-металлический запах осевшей росы, мешаясь с запахом остывающей земли, жгуче волновал и будоражил молодые, прибывающие день ото дня беспокойные Петькины силы. Какая-то беспричинная непонятная радость так и бродила в нём, бунтовала, просилась наружу.

— Вот где они спят, — останавливаясь, шёпотом проищёс Шурка. — Вишь, лестница белеется. Ты погоди, у меня тут неподалёку кошка в амбаре сидит. Мы для начала кошку на них кинем.

Шурка приволок беспокойно крутящую хвостом кошку и стал учить Петьку, как действовать.

— Ты будешь лестницу держать, а я полезу потихоньку. Только без шума. А то ещё огреют чем-нибудь. Слушай сейчас, как они завизжат.

Но девки рассудили по-своему. Едва Шурка, далеко отпятив худой зад, стал подыматься по лестнице, как на поветях моментально вскочили и тяжёлый тёплый шматок воды, словно мокрая тряпка, шлёпнул Петьку по лицу. Шурка с коротким предсмертным возгласом грохнулся на землю. Освобождённая кошка радостно стрельнула вдоль улицы, а за ней, спотыкаясь, ошалело отплёвываясь, побежали и Шурка с Петькой.

На поветях хохотали.

— Вот это придумали! Вот это придумали, — задыхаясь от одолевшего его смеха, бормотал Петька, когда они остановились, — почище кошки!

— Ничего, — сердито говорил Шурка, — я им завтра ещё не такое устрою. За мной не пропадёт. Ишь, водой купать!

— Стой! — перебил вдруг его Петька. — Вроде бы кричит кто-то.

Они прислушались.

— Кара-у-ул! — донёсся от околицы слабый старческий крик.

— Кажись, дед Михей кричит. Не на току ли чего стряслось!

— Кара-у-ул! — жидко и дребезжаще прозвучало опять в ночной тишине.

— С току, слышать...

У Шурки возбуждённо засверкали глаза.

— Тащи из плетня по колу. Бежим. Неладно там что-то.

Спрямяя дорогу переулками, ребята бежали с кольями наперевес, как солдаты. С шумом дыша через отвердевшие ноздри, Петька что есть духу мчался за отмахивающим сажени Шуркой. Под тревогой, охватившей его, он ощущал что-то похожее на острое чувство удовольствия: вот где-то случилась беда, а он, Петька, сейчас прибежит и поможет, выручит.

У дороги возле тока в высоких белых валенках стоял сторож Михей и, видя подбегающих парней, продолжал слабо выкрикивать:

— Караул! Дайте помощи!

— Ну, чего, чего? — закричал ещё издалека Щурка. — Обокрали, что ли?

— Мешок пшеницы... из семенного вороха... уволокли, — плачуще заговорил Михей. — Уж я за ним бёг, бёг, да рази поспею. Запарился весь. Он здоровый, как лось. Цоп мешок на плечо да как зашумит подсолнышками — треск пошёл.

— А кто? Кто?

— Не признал. Слаб глазами. Я в охвостях сидел. У меня ведь еморой, ребята. Зудит ночами. Я найду, где охвостья сопрелись, разгребу до горячего и сяду. Легче так-то. Завтра пойду в правление, пусть сымают. Какая это работа, когда крадут.

Михей заплакал.

Щурка с Петькой облазили все подсолнухи, долго разбирали следы на росной траве вдоль дороги, оба перемазались и вымокли окончательно, но вора не нашли. Петька стал утешать сторожа:

— Ничего, завтра милиция приедет с собакой. Сразу разыщут. А ты бы, дядя Михей, из ружья по нему трахнул..

— Хотел, милый, да оно чего-то у меня выстрелов не даёт. Осекается, окаянное.

...Когда Петька пришёл домой, светать ещё не начинало, но в воздухе уже чувствовалась предутренняя знобкая сторожкость. Он зажёт в своей кладовке свечку, снял мокрую одежду, надел сухие шаровары и, всё ещё не успокоившись от возбуждения, вышел ко двору покурить: в кладовке отец запрещал баловаться с огнём.

Круг поздней багровой луны медленно выплывал из-за леса. В прорехи низких мирных тучек глядели далекие белые звёзды.

Из-за палисадника вдруг раздался хриловатый голос отца:

— Петьк!

Петька даже вздрогнул от неожиданности.

— Чего?

— Ты там куришь?

— Я.

— Один, что ли?

— Один.

— Отвори кладовку.

За изгородью послышалась какая-то возня и через минуту с мешком на плече отец почти бегом пробежал в калитку. Шмякнул мешок на пол, выпрямился, отирая испарину со лба.

— Лишка сыпанул маненько. Насилу доволоок. Взмок инда. Это вы там по подсолнышкам шныряли?

До Петьки медленно начал доходить смысл случившегося. Он подошёл, пощупал мешок рукой.

— С току?

— Нет, с ярманки... Слышу, кто-то по подсолнухам снует, ну, думаю, пымают теперь. Потом слышу — твой голос. От сердца отлегло. Давай-ка в кадушку пересып-лем. Бери за угол.

— Тебе жрать, что ли, нечего? — дрожащим от волнения и страха перед отцом голосом проговорил Петька.

Дремучая тень отца метнулась по стене кладовки. Он дико выкатил на сына глаза и хрипло, остервенело закричал:

— Бери, говорю, за угол! Ишь, ваше благородие! Попретило ему. Интеллигент сопливый.

— Не вздумай высыпать! — Жидкие белёсые Петькины брови сошлись у переносья. — Я всё равно отнесу обратно.

— Ах, ты... — Отец матерно выругался, схватил мешок поперёк, бухнул в стоящую рядом кадушку и, подымая клубы удушливой пресной пыли, одним рывком вытряхнул зерно.

Отсветы свечки играли на его багровом, лоснящемся, неподвижном от ярости лице.

— Брезгуешь! А гармонь тебе купи? Костюм купи? А ты запасал? В дом принёс чего? Ещё пикни только! — Он ударил Петьку мешком по лицу и вышел, с треском затворив кладовку.

Кипучее, никогда не испытанное раньше чувство бешенства охватило Петьку. Он шибанул дверь кладовки ногой и та, глухо вмянув, ударилась наотмашь о стенку.

— Никогда!.. Слышишь? Никогда больше ни одной колхозной крохи сюда не приноси. Я и гармонь вдребезги изрублю! И костюм изрублю! Спалю в печке! А это... это я сейчас...

Трясущимися руками схватив совок, Петька стал черпать из кадушки пшеницу и торопливо, неловко суетясь, пересыпать её в мешок. Он был почему-то уверен, что отец не тронет его, даже не подойдёт, и со жгучей радостью чувствовал своё превосходство над отцом.

...Когда Петька, задыхаясь под тяжестью мешка, добежал до тока, всё вокруг стало уже призрачно сереть. В минутном полусвете горбатые вороха, веялки, погрузчики, поднявшие кверху свои хоботы, казались спящими животными.

Петька на минуту остановился около риги, передохнул чуток, потом подбежал к ближайшему вороху, опрокинул мешок. Зерно с шелестом потекло по вороху.

— Стой! — закричал вдруг кто-то (не Михей) с другого конца тока.

Схватив мешок, Петька опрометью кинулся за веялку, потом бешеными прыжками понёсся к риге. Сзади громоздочно грянул выстрел. Петька упал, вскочил и, не сворачивая в подсолнухи, прямо по дороге помчался прочь.

— Врёшь, не догонишь! — бормотал он сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как упруго ощущают землю его молодые сильные ноги.

Сбежав от деревни вниз, к лесу, он упал меж кустов и долго лежал с гулко колотящимся сердцем.

Уже потом, когда отдышался, ему стал явствен холодный, чистый, всегда почему-то будоражащий его, очищающий душу запах росы.

Мать

Холода тогда стояли свирепые. Больше месяца держались ровные, необыкновенно жестокие морозы.

По утрам мы бежали в наше маленькое учреждение рысью. Не той весёлой рысцой, когда бежишь и сам над собой посмеиваешься, а натуральной осознанной рысью. Мы влетали в помещение, и словно кто-то тёплый и ласковый бросался нам на шею: топили здесь хорошо. Так хорошо, что даже в коридорчике, где батареи не было, а одни отопительные трубы, — даже там стояло жиденькое тепло.

Должно быть, поэтому собака туда и забралась. Мы её сперва не заметили. Она была грязно-жёлтая — одного цвета с некрашеным и давно не мытым полом.

— Это что за новости? — воскликнул Володя Васильев, пристально взглядевшись в сумрак угла. — Ну-ка, ребята, отвори дверь!

Стало светлее, и мы с интересом и оживлением уставились на собаку. Она была ужасной худобы, с неряшливой некрасивой шерстью на впалых боках. Половина уха у неё была то ли откушена, то ли оторвана кем-то.

Мы стояли и смотрели на неё с жалостью. С той хорошей жалостью, которая смешана пополам с брезгливостью. Ясно, что это была бродячая собака. Бесприютная жизнь выбила из неё всякое достоинство и самолюбие. Она смотрела на нас с подобострастием и униженно виляла не только хвостом, а и задом, и даже всем своим худым, мосластым туловищем.

— Да-а, — протянул Коля Иноземцев, — неказистая собака. Потушим её, что ли?

— Жалко, — поморщился Володя. — Пусть немного погрееется.

— А она не это самое? — Коля неопределённо пошевелил пальцами в воздухе.

— Ну, нет, — решительно возразил я, — такие собаки насчёт этого умнее, чем породистые. Они прекрасно знают, что человеку нравится, что нет. Это в них вбито пинками.

Собаку оставили в сениях.

Мы принялись за работу и не отрывались до самого обеда. Народ мы были молодой, сноровистый, дело своё знали и работали весело, зажигаясь один от другого. Обедать пошли, подтрунивая друг над другом.

Собака, о которой мы и позабыли совсем, неожиданно нас перепугала. Едва Николай открыл дверь, как она вспрыгнула ему на грудь и, дёрнув шеей, мазнула языком по подбородку.

— Пш-шла! — заорал он диким голосом и оттолкнул собаку. Она отлетела к стене, упала на пол и не вскочила, а перевалилась на спину, подняв бессильно согнутые лапы.

Николай, у которого от неожиданности пятнами пошла по лицу краснота, брезгливо сморщившись, вытирал подбородок.

— Пси́на, — бормотал он, — прямо в лицо... Сама, поди, только что на помойке копалась.

Володя замахнулся на собаку кулаками. Она не вскочила, не убежала, а часто застучала по полу хвостом и завозилась, завиляла, лёжа на спине, думая, что мы с ней играем.

— Ну и дурёха! — развёл руками Володя. — Что же у тебя осталось от твоего родителя — волка?

Он нагнулся над собакой, схватил её за шкуру на загривке двумя руками, с натугой поднял в воздух и стал держать прямо на весу. Глаза у собаки косо натянулись к вискам, на морде изобразилось нечто вроде жалкой улыбки... Она не сопротивлялась, не скулила, только слабо помахивала своим грязным хвостом.

— Пусти её, — сказал я, поморщившись, — никогда не видел такой противной собаки.

Володя опустил собаку на пол. Она встряхнулась и преданно начала виться у его ног, всё норовя подскочить и опять лизнуть в лицо.

— Куда, куда ты лезешь? — осаживал её рукой Володя. — Сейчас на мороз выгоню!

Обедали мы молча, с каким-то неприятным осадком на душе. Мы, конечно, понимали, что собака не человек и особенного благородства от неё требовать нечего, что унижение для собаки — единственное средство выжить, гордость давно бы погубила её. И всё-таки видеть это было неприятно.

Я отложил в сторону кусок хлеба.

— Покормим, что ли, подлую?

— Можно покормить, — согласился Володя, — только ведь она потом привяжется, не отгонишь — такое создание.

— Не привяжется, — возразил Николай, — вот малость потеплеет, мы её живо попросим. А то ещё подарит нам блох каких-нибудь.

Когда собака увидела хлеб, она в секунду вскочила на ноги, вытянулась в струнку и застыла, как каменная.

«Нет, это в самом деле хлеб? — читалось в её глазах. — И вы сейчас отдадите его мне? И для этого совсем не надо рыскать по помойкам, грызть всякую закаменелую, жгучую от мороза дрянь?»

— Оголодала, бедняга, — сказал я и подбросил кусок в воздух. Собака взвилась следом за ним, промахнулась, хлопнула попусту зубами, упала набок, страдальчески взвизгнув, перевернулась на брюхо и наконец-то — хам! хам! хам! — затряслась над куском.

Мы стояли, потрясённые зрелищем этого насмерть изголодавшегося существа.

С тех пор собака стала жить у нас. Мы относились к ней с прежней безразличной сострадательностью, но как-то привыкли к её безобразному виду, к откушенному уху и заискивающим виляниям хвоста.

Иногда Володя открывал дверь и впускал собаку в помещение. Она входила в комнату с благоговейной робостью, ложилась у порога и, разморённая от тепла, засыпала.

— Уз-з-зы, уз-з-зы! — начинал Володя и, подталкивая сапогом в бок, старался разъярить собаку. Но разъярить её было невозможно. Она всё терпеливо сносила, только один раз, когда он особенно её донял, вдруг подняла голову, ощерила прекрасные белые клыки и с коротким храпом ухватила его за сапог. Тут же опомнилась, с вино-

ватой укоризной поглядела на своего благодетеля и опять уткнулась мордой себе в пах.

Больше её Володя не травил. Мы с каким-то облегчением почувствовали, что хоть она и рабски ползает перед нами на брюхе, но глубоко внутри есть у неё что-то здоровое, настоящее собачье...

Тёплые дни не пришли и в марте. Только к обеду солнышко чуть-чуть разгоняло седую морозную мглу, иной раз с крыши даже начинало нерешительно капать, но всё это на какой-нибудь час: к вечеру, а особенно в ночь, заледенелые провода на столбах, натянувшись, начинали глухо гудеть посреди мертвящей морозной тишины.

Собака стала отлучаться. Она приспособилась открывать в сенцах дверь, выходила на улицу, несколько минут стояла, словно в задумчивости, потом наклоняла голову к земле и направлялась куда-нибудь своей характерной меланхолической рысцой.

— Весну почуяла, — констатировал Николай, — пошла помойки обследовать.

— Не в этом дело, — многозначительно усмехнулся Володя, — женихов она ищет. Время такое.

— Что? — Мы с удивлением уставились на него. — Это ты серьёзно?

— Вот увидите!

Мы засмеялись. Очень уж невероятным казалось, что наша заморённая, страшно худая, облезлая собака могла помышлять о подобном.

Но скоро мы действительно увидели, как она бежала по двору в сопровождении стайки «женихов». «Женихи» были под стать ей — грязные, лохматые, но среди них выделялся чёрный кобель со стройными ногами, гладкой шерстью, тускло поблескивавшей на крепких рёбрах.

Наша собака с деланным спокойствием бежала впереди, не оглядываясь на свиту, а те, словно опасаясь приближаться к ней, покорно и почтительно следовали за нею и даже не грызлись между собой.

С тех пор мы часто шутили на эту тему и насмехались над собакой. Она словно понимала нас и как-то совестливо отворачивала морду. В её поведении стало появляться что-то вроде задумчивости. Даже ластилась к нам сдер-

жаннее и на хлеб уже не бросалась, а ела с тихой и скромной деликатностью.

Мы не полюбили собаку, а просто привыкли к ней, порой не замечали её целыми днями и часто бесцеремонно отодвигали ногой с дороги, когда она по утрам радостно бросалась нам навстречу. Казалось, что, исчезни она, мы этого и не заметим.

Но однажды Володя вбежал в комнату взволнованный и возбуждённый.

— Ребята, собачники приехали! С сачками какими-то. Поймают теперь нашу красавицу.

Мы повскакали с мест.

— Какие собачники? — удивлённо сказал Николай. — Что у нас, капитализм, что ли?

Володя засмеялся:

— Бродячих собак и при социализме вешают, они летом бесятся.

— Но наша-то не бродячая, у неё дом есть.

— Чего зря разговаривать, — сказал Володя, — сейчас она бежит где-то, как раз попадётся. Пошли посмотрим.

На улице неподалёку от нас стоял фургон. Шофёр сидел в кабине и читал книжку. Сами ловцы разошлись по двору. В фургоне таякали и заливались несколько собак.

— Может, она уже там сидит, — предположил я, — давайте заглянем.

— Вон, вон она! — закричал вдруг Володя.

По двору вдоль забора стрелой мчалась наша собака, за ней, весь подавшись вперёд, бежал мужчина в белых валенках с большим кругом в руке, похожим на сачок. Другой собачник выскочил из-за угла и кинулся наперехват.

— Не трожь, — закричал Николай, — собака застрахована, у неё документы есть!

Второй собачник от неожиданности остановился, а собака промчалась мимо него и влетела в приоткрытую дверь сеней.

— Вы что же, ребята, балуетесь? — проговорил мужчина, подходя к нам. — Мы ведь не игру играем, а дело делаем. У вас работа, у нас работа.

— Она не бродячая, — сказал Володя официальным тоном, — отлову не подлежит.

Подошёл второй мужчина, тяжело дыша и вытирая красное лицо рукавом.

— Рассказывайте мне — не бродячая! Я её как облупленную знаю, второй год ловлю. Заходи, Петро, прямо в сени.

— Погодите, погодите! — запротестовал я. — Вы не имеете права.

— Имеем, — твёрдо сказал мужчина с красным лицом, — мы её обязаны поймать. А вам советую дело до милиции не доводить. Тоже мне, друзья животных!

Мы поняли, что сопротивляться бесполезно. Коридор оказался для собаки не спасением, а ловушкой.

Володя посмотрел на меня долгим, на что-то намекающим взглядом и сказал, обращаясь к мужчинам:

— Ладно, мы её сейчас сами поймаем. Поддержи-ка, Николай, дверь.

Мы вошли с Володей в коридорчик.

— Давай выгоним её на улицу, — сказал он мне шёпотом, — авось удерёт.

Я кивнул головой. Володя подошёл к сидящей в углу собаке и вдруг молча и неожиданно замахнулся на неё кулаком. Собака без страха слегка подалась к стене и посмотрела на нас каким-то строгим, человечески-серьёзным взглядом.

Она понимала всё. Всё до капли.

Кричать на неё было нельзя. Поэтому дальнейшее произошло молча и, должно быть, показалось собаке диким кошмаром.

Володя ударил её сапогом в бок.

Она не взвизгнула, не ощерилась, а осталась сидеть, как каменная, и в углы её полных ужаса глаз медленно стекалась и остро задрожала прозрачная влага.

Лицо у Володи сделалось страдальческим, словно он нечаянно ударил любимого человека. Мы оба замешкались и стояли, не зная, что делать. Наконец и я затопал обеими ногами об пол, наводя на собаку страх, Володя в отчаянии схватил её за шиворот, волоком протащил на середину сеней и опять пиннул в рёбра.

— За уши хватай! — спокойно посоветовал из-за двери собачник. — Тащи её сюды, на улицу, я её тут накрою.

Ошеломлённая собака неожиданно вскочила на ноги, пулей метнулась на волю и, едва не сбив с ног мужчину с сачком, понеслась по двору. Оторопевшие собачники даже не побежали за ней.

Взрывая лапами крепкий снег, ослеплённая болью, обидой и гневом, собака неслась вдоль забора к зияющей впереди дыре.

...С тех пор хлеб, который мы оставляли на ночь в сенах, оставался нетронутым.

Мы продолжали жить своей обычной человеческой жизнью, но в душе у нас стало больше одним из тех воспоминаний, которые таятся где-то в глубине и приходят чаще всего в одиночестве, по ночам.

Собака так больше и не появлялась.

Увидел я её уже весной. Был пасмурный день. Сырой ветер со свистом и шорохом носился по улицам, с которых медленно сходил тяжёлый, налитый свинцовой влагой снег. С карнизов крыш порывами то сеяло мелким водяным дымом, то швыряло тяжёлые холодные капли. С глухим шумом бежали мутные злые ручьи.

Собака стояла у красного каменного забора, возле которого лежали большие цементные трубы. Была она ещё более худа и безобразна, чем прежде, а может, это показалось мне оттого, что вся она промокла и тряслась мелкой дрожью. Собака узнала меня, но не тронулась с места и даже ни разу не вильнула хвостом. Она смотрела без испуга и подобострастия — с пристальным и холодным любопытством, словно говоря: «Что скажешь нового?».

Я поощрительно похлопал себя по колену, но она даже не двинулась. Потом я подошел поближе и ахнул от изумления.

За собакой стояли два маленьких, чёрных, удивительно похожих друг на друга щенка. Они задрали головёнки и глядели на меня с весёлым бесстрашием, наострив уши и посверкивая крохотными, как тёмные стеклышки, глазёнками. До сих пор мне кажется, что я никогда больше не видел таких замечательных щенков.

«Ну, что, — словно бы говорила собака, — каковы? Разве не стоило из-за них пережить эту ужасную и мучительную зиму? Разве не стоило перенести все унижения,

которые я вытерпела в вашем коридорчике? Думаешь, я не видела, с каким презрением и брезгливостью вы относились ко мне? Думаешь, не жѐг моѐ голодное горло каждый брошенный вами кусок? Разве я не помню ваших пинков, когда вы побоялись отстоять меня перед собачниками?»

Что я мог возразить ей?

Я шагнул вперѐд и хотел погладить щенков. Но они, как мне показалось, насмешливо переглянулись и кинулись в тѐмное отверстие трубы.

Мать научила их гордости.

Жених и невеста

Фёдор Фёдорович Заикин стал хлопотать себе пенсию, собрал бумаги, пошёл по учреждениям и тут оказалось, что нет у них с Авдотьей брачного свидетельства.

Три раза принимались старики рыться в маленьком железном сундучке, где потихоньку копились бумажные отходы жизни: потерявшие теперь грозность «обложения» молоком и мясом, справки о трудоднях, приглашения на выборы, облигации, рецепты из больницы, а брачного свидетельства не было.

Если бы не пенсия, его бы и не надо. Почти пятьдесят лет вместе прожили, шесть детей подняли, срослись крепче, чем гриб с деревом, аж вроде и лицами друг на друга смахивать стали — какое ещё свидетельство? Но если рассудить, то и другое правильно: детей к документам не пришьёшь, а каждый будет со своим уставом лезть — стройность порядка нарушится. Раз надо — значит надо.

Фёдор Фёдорович в три районных загса ездил копию взять. Беда с этими архивами. Придёшь, барышня спрашивает: «Какого района?» — «Залесского». — «Деревня какая?» — «Пескарёвка». Это, говорит, дедушка, в бывший Красновский район относилось, туда езжайте. И опять себе что-то пёрышком водит, а ты 90 километров в Красновку шпарь на чём попало. Намудрили с этими районами, прямо надо сказать. Жили ничего себе, нет — давай укрупняться, потом опять делиться. Только архивы перепутали. Так и не взял копии.

Фёдор Фёдорович ходил советоваться к председателю сельсовета Пантюхову, который немножко доводился ему родственником. Пантюхов, бывший тракторист, с чуть зажиревшим моложавым лицом, с просторными ноздрями и сивыми ресницами, решил вопрос просто:

— Это, дядя Федя, надо по новой расписываться. Такой закон. Так что, если окончательно не найдёшь, приведи старуху в сельсовет, мы вас тут обвенчаем. А пока считай, что ты — холостой.

И захохотал.

Из сельсовета Заикин возвратился злой и угрюмый. Почему-то совестно было представить, что идут они с Авдотьей под конец жизни ещё раз жениться. Зазорного, конечно, нет ничего, а всё-таки: народ прознает, начнут подсмеиваться — зубоскалить все мастера.

— Неси ящик, — приказал он жене, — переберём всё пристальнее.

Он надел на нос старинные, мало ему помогающие очки, с хмурой озабоченностью перебирал и читал бумажку за бумажкой. Авдотья хоть не сильно понимала в грамоте и различала документы больше по мастям, работала куда сноровистей.

Время от времени он, согнув голову, будто с колокольни, смотрел на неё поверх очков и спрашивал:

— А ты его куда не засунула?

— Ей-богу, отец, и в глаза не видела. Зачем я в эти бумажки лезу? Уж, пожалуйста, с меня не взыскивай!

Они просидели над сундучком до сумерек, пока на улице не послышался топот и рёв возвращающегося стада, потом Фёдор Фёдорович сгрёб со стола все бумажки, выругался и всё-таки «взыскал»:

— Это ты его, курица, потеряла, больше некому. Молчи, говорю! Теперь иди в сельсовет глаза продавать. Ты уж, чать, забыла, какую в девках фамилию носила.

— Старостина, — покраснев, сказала Авдотья.

— Старостина! — передразнил он. — Вот возьму и брошу тебя. Никакой алимент не взыщешь.

Он затряс пегой бородой и засмеялся особым «сатирическим» смехом, который Авдотья в нём терпеть не могла. Она ушла в чулан и, копошась там, заговорила со смиренной ласковостью:

— Брось, брось... И думать тут долго нечего. Брось... Я теперь тебе какая жена? Старуха, зубы вон попадали. На тебя, может, какая молодая кинется. Ты ведь у нас орёл. Грыжу тебе вырезали, еморой только на той неделе док-

тор наладил — чем не жених? В клуб теперь ступай, там, чай, кино нынче.

Заикин сначала опешил, но потом спохватился и выправил положение.

— Будя! — заорал он уже своим настоящим хрипловатым голосом. — Слово мужу не дашь сказать. За-пе-е-ела!

Он взял чёрствый ломоть хлеба, не особенно сильно, чтобы не повредить слабый косяк, хлопнул дверью и пошёл приманивать ко двору овец.

...Сельский Совет располагался не в самой Пескарёвке, а в соседнем селе за четыре километра. Заикины решили идти с утра пораньше, когда не так много народу, но Авдотья, как всегда, задерживалась за своими делами: то загребала угли в печи, то месила поросёнку, то пропускала на сепараторе молоко. Фёдор Фёдорович, чтобы скоротать время, подравнивал перед зеркалом бороду. Лево́й рукой брал наудалую клок волос, оттягивал, с хрустом подрезал ножницами и кучкой складывал на подоконник.

— Не уродуй рыло-то, — на бегу заметила Авдотья.

— Чай, мы теперь молодые, — хмуровато пошутил Заикин. Всё-таки чувствовал он какую-то неловкость от того, что им предстояло расписываться, как будто их, стариков, заставляли играть в какую-то игру. Уж лучше бы сделали, что там полагается, за глаза. Он не высказывал ничего этого вслух по всегдашней привычке казаться перед Авдотьей уверенным в себе и не теряться ни в каких положениях.

— Готова, что ли? — спросил он у жены.

— Всё, всё, — торопливо ответила она, накидывая на голову чёрный с белыми горошками платок. На Авдотье был надет новый зелёный «полусак», резиновые «лакировки» и шерстяная синяя юбка.

— Ишь, нарядилась!

Когда он видел жену в праздничной одежде, помолодевшую и как бы распрямившуюся, с чистым и свежим блеском тёмных зорких глаз, всегда неопределённое, но живое и яркое воспоминание омывало и всколыхивало ему душу. На секунду-другую он со жгучей отчётливостью испытывал счастливое состояние молодости, как будто ветер относил вдруг его на сорок с лишним лет назад.

— Ишь, нарядилась! — повторил он с напускным удовольствием и прибавил: — Пошли живее.

На дворе стоял июнь, а тепла ещё особого не было. Почти через день находили не по-летнему раздумчивые неторопливые дожди без грома, земля напилась, отяжелела как-то на вид и, несмотря на прохладу, мощно гнала зелень. По всем мало-мальски спокойным местам в колёно вымахали травы, мясистая листва на деревьях сытно поблескивала и не сбросившая ещё цвет черёмуха величаво белела по опушкам. Серенькие, чуть подсинённые тучи низко и буднично висели над землёй, равнодушно отражались в озере, мимо которого проходили старики.

— С хлебами нынче будем, — предполагал Заикин, — сенокос хорошо обещает. Только бы не погноило.— Он совершенно не умел разговаривать с Авдотьей в праздной обстановке и чувствовал себя до некоторой степени мальчишкой, который пошёл девку провожать и не знает, что говорить. Будь с ними третий, Фёдор Фёдорович с удовольствием бы «побалясничал», а один на один как-то не выходило. Дома или на работе в поле само дело подсказывало разговор, там и не хочешь, так что-нибудь скажешь, а тут надо выдумывать...

Но в таких случаях всегда выручала Авдотья. Она на слово была легка.

— Вот, кажись, в этом месте Алёшку дугой убили, ты не помнишь, отец? — сказала она, указывая на узкий и длинный выступ леса, подходящий к дороге.

— Какого Алёшку?

— Как — какого? Крылова. После самого голодного года, аль не помнишь?

— Да он разве был Крылов?

— А чей же?

— Чай, Авдошин...

— Эва! Авдошин. Авдошин-то он по матери. Катерина-то за Василья Крылова была выдана.

— Будя болтать! «За Василья». Василий в Красновке во двор взошёл к Зинке Стриженой.

— Ох и любишь ты спорить! К Зинке — Демитрий, брат Василья. Я тогда в аккурат Ленкой была брюхата.

— А, чёрт тут разберёт!

Такие споры часто возникали меж ними и хоть временами доходили до горячего, они всё равно любили их затевать. Оба смутно понимали, что не так-то уж важно им выяснить, кто за кого был выдан, просто, споря, они бессознательно жили в днях своей молодости и чем, ни больше вспоминали подробностей, тем слаще становилось на сердце. А со стороны посмотреть — бранятся люди.

Они проходили мимо кладбища, останавливались, узнавали могилы, опять спорили. Потом Авдотья стала рассказывать, как Иван Сорокин домой «летал».

— Ей-богу, отец, не вру. Мне Нюрка сама рассказывала. Как схоронили, так и стал летать. Она больно за ним убивалась, а если об человеке жалкуешь — он непременно летать будет. Как, говорит, вечер — приду с работы, топлю печку, он тут как тут. Стук-стук по крыльцу клюшкой — хромой ведь был, с протезом. Уж как, говорит, забираюсь: все крючки наложу, обkreщу двери — ничего не держит! Как придёт, слышу, в сенях запор — щёлк! — так сам и отпрыгнет. Зайдёт в избу и прямо в передний угол прётся. Сядет, уставится и сидит. А лицо уж зеленцой взялось и дух нехороший. Бедную бабу сухотка брать стала — ну-ка натерпись такого страху. Ни молитвы, ни святой воды он не боялся. Так и мучилась, пока не научили. Пошла в луга, сорвала татарнику сухого с колючками и, где он садится, туда и положила. Вечер настал, он идёт, как и быть надо. Протопал, на место сел, да как оскалится. Подлетел с лавки — шварк в дверь, только гул пошёл. С тех пор унялся.

Рассказывала Авдотья истово, умильно растягивала слова, гладко, ровно, будто песню пела. А Фёдор Фёдорович посмеивался:

- Ерунда всё это, опиум для народа.
- Да уж ты разве согласишься! Тебя не касалось.
- А тебя касалось?
- Не касалось, а слыхала много.
- Чего же они сейчас-то не летают?
- А к кому им летать, сейчас все партийные.
- Партийных-то они разве боятся?
- Так выходит.

Фёдор Фёдорович засмеялся звонким ядовитым смехом, который всегда казался Авдотье глумливым и был неприятен.

С неба раза три капнуло, они было заопасались, что пойдёт дождь и вымочит, хотя особых туч не было. Им повезло. Догнал на мотоцикле с люлькой Иван Волков, их сосед — бритый моложавый мужик, хоть и ровесник Заикина. Вообще он выделялся в деревне: первый ещё в тридцатых годах купил себе велосипед, потом мотоцикл, не робел перед техникой, был боек, когда-то первым грамотеем считался. Одна нога у него не до конца разгибалась в колене, он припадал на неё и за глаза звали его за это Ваня Рессорный. Авдотья села в люльку, Фёдор Фёдорович укрепился на заднем сиденье, и они поехали потихоньку — Иван берёт машину. Можно было разговаривать.

— В школу вызвали, — рассказывал Рессорный. — Петьку по двум предметам на осень оставляют. По алгебре не прошёл да по физике. Чего теперешней молодёжи надо — не знаю. Два костюма справили, питание — какое хочешь, по дому работать совсем не заставляем, и всё равно уроки не учит, одни танцы на уме.

— Не любит, значит, физического труда, — веско заметил Заикин.

— Не только, Фёдор Фёдорович, физического — ведра воды не принесёт. Испортили мы их, вот что.

Впереди через дорогу медленно перетекало коровье стадо и проехать сквозь него не было никакой возможности. Пришлось остановиться.

— Вот, — сказала Авдотья, — и коровы-то теперь другие пошли: машина гудит, а она и ухом не поведёт. Раньше бы — хвост дугой да залилась куда подальше.

— Такое время, — пояснил Рессорный. — Корова, она тоже от человека учится, перенимает.

Он тронул мотоцикл с места и спросил, не оборачиваясь:

— Что это вы оба, муж с женой, с утра в Красновку наладили?

Чтобы не сразу отвечать, Фёдор Фёдорович стал кашлять и, пока кашлял, размышлял, говорить или не гово-

рить. Он решил, что скрываться тут нечего, кто дурак — пусть смеётся, а умный поймёт.

— Мы теперь не муж и жена, — громко и оживлённо заговорил он. — Мы теперь — бери выше — жених и невеста.

— Как так?

— А вот так. — И, не оставляя насмешливого по отношению к себе и Авдотье тона, он рассказал Рессорному, в чём дело. — Вот и пришлось мне, сосед, сызнова свататься. Ладно ещё барышня попала не строптивая, а то вынесла бы тыкву, отказала бы. Ха-ха-ха!

Покачиваясь в люльке, Авдотья тоже посмеивалась, хотя немного страдала и стыдилась этой непривычной развязности мужа.

— Тогда поехали вместе в сельсовет, — решил Рессорный, — я у вас свидетелем буду. Комсомольскую свадьбу справим. Э-эхх! — И он прибавил газу.

Так втроём и вошли они в сельсовет — впереди, весело падая на согнутую ногу, — Волков, а сзади Заикины, примолкшие, отчего-то стесняющиеся друг друга.

— Привет Советской власти! — громко крикнул с порога Рессорный.

Сельский Совет был бедноват. Три стола в большой комнате с железной голландкой, за которыми сидел весь, как любил выражаться председатель Пантюхов, «аппарат» из трёх женщин во главе с вечной секретаршей Анной Софроновной, малокровной худой женщиной с крупными веснушками. За щелястой дощатой переборкой располагался кабинет самого Пантюхова. Фёдор Фёдорович хотел было сразу пройти к нему, чтобы тот устроил всё по-родственному, побыстрее, но Анна Софроновна сказала, что Павел Иванович занят с архитектором. Голоса из кабинета проникали свободно и весь разговор был слышен. Пантюхов, как понималось, хотел в центре села установить какой-то памятник неизвестным героям, архитектор просил за это 800 рублей, на что председатель возражал:

— У нас такого бюджета нет. Любую половину бери.

— Да ведь это, Павел Иванович, простите меня, не печку сложить.

— А какая разница, — дельно замечал председатель, — всё равно кирпичная работа.

— Нет, прошу простить ещё раз. Художественная кладка — совсем другое дело, чем вы себе представляете. Потом ведь я на фоне штукатурки должен барельеф дать, абрис рисунка.

— А-а-а-а, — говорил председатель.

На косяке кабинетной двери в продолжение разговора несколько раз желтенько загоралась лампочка, это Пантюхов приводил в действие сделанное им собственными руками новшество. Ставши главой сельсовета, он в ножке стола устроил кнопочный выключатель, с которого подавалось напряжение на лампочку, и это давало возможность вызывать «аппарат» не голосом, а морганием света. Дебаты с архитектором окончились тем, что сошлись на четырёхстах рублях, но с условием, чтобы тут же был открыт лицевой счёт и мастер мог бы при первой надобности изымать из оговорённой суммы три рубля.

Архитектор — мелкий мужчина в мятом галстуке и соломенной шляпе — ушёл и на пороге показался Пантюхов — увесистый, полный, на крепких коротких ногах.

— Добро пожаловать, добро пожаловать, дорогие молодожёны! — Прижмуренные глаза у него блестели весёлым ртутным блеском. — Я говорил, Анна Софроновна, что они придут. Вот видите! Давайте регистрировать.

Фёдор Фёдорович дурашливо подхватил жену под руку и подтащил к столу секретарши. С другой стороны подлетел Рессорный. Всем в сельсовете стало весело. Женщины бросили дела и сидели, улыбаясь. Но, когда заполнили бланк заявления, Анна Софроновна вдруг серьёзно сказала:

— У нас полагается месяц на раздумье. Чтобы не было скороспешных браков.

— Анна Софроновна, душа любезная, — с интонациями затейника закричал Заикин, — да я бы год согласен ждать, только кабы невеста не померла.

Опять раздался смех. Народу в помещении как-то незаметно прибавилось и Фёдор Фёдорович чувствовал себя, как на сцене.

— Скажите, гражданин Заикин Фёдор Фёдорович, —

сдерживая улыбку, произнесла секретарша. — Вы согласны сочетаться браком с гражданкой Старостиной Авдотьей Никитичной?

— А куда же деваться, — развёл руками Заикин. Опять засмеялись. Когда этот вопрос был задан Авдотье, лицо её отчего-то странно напряглось, она вытерла концом платка покрасневший нос и шёпотом произнесла:

— Согласна...

Фёдор Фёдорович искоса посмотрел на жену, ему стало неудобно за свой ернический тон, но он уже не мог остановиться и всё продолжал острить и развлекать собравшихся.

— Может, у вас тут жениху и запасные части дают, я бы кой-чем сменялся!

Рессорный под шумок успел сбегать в магазин, принёс две бутылки вермута и, взяв казённый стакан, стал всех обносить помаленьку.

— Ну, за ваше счастье!

— Чтоб деньги водились.

— Дал бог девушку, даст и денежку.

— Чтобы не последний раз.

— Ххха-ха-ха!..

А вообще было душевно, все растрогались. Сельсоветская уборщица Харламова, давнишняя вдова, даже заплакала. Когда дело кончилось, вышли на улицу, Рессорный сказал беспшашно:

— Не еду я ни в какую школу! Раз в нём соображения нет, своего не прибавишь. Лучше довезу-ка я вас домой да там ещё выпьем.

Авдотья запротивилась:

— Ладно уж! Ишь губу-то разъело. Не поеду я больше, у меня от шума голова болит. Лучше пешком пойдём.

Они двинулись пешком. Пока были в сельсовете, тучи немного разъехались и солнце порывами окатывало землю. Невидимые облака запахов лениво стояли в загустевшем воздухе. Жёлтая бабочка играла впереди: то висела на одном месте, то косо сваливалась в сторону от дороги, но не улетала, а как будто вела их. Кротко глядели из травы синие кисти шалфея. Впереди за мощными купами капустно-сизых вётел резко сверкала река.

— Почитай хоть, что там написано, — сказала вдруг, останавливаясь, Авдотья. Фёдор Фёдорович извлёк из «нутряного» кармана похожую на ассигнацию бумагу и, отдалив от глаз, стал читать напряжённым голосом:

— Свидетельство о браке. Гражданин Заикин Фёдор Фёдорович, шестьдесят пять лет, гражданка Старостина Авдотья Никитична, шестьдесят два года...

Авдотья вдруг всхлинула — раз, другой, отвернулась и быстро зашагала по дороге.

— Ты чё? Ты чё? — растерянно говорил сзади Заикин, чувствуя, что и у него тоже как-то расслабело в носу. — Ну чё ты, Авдотья?

Она отёрла глаза и вздохнула глубоким сдвоенным вздохом.

— Не знаю, Фёдор. Что-то сердце тронуло. Раздумалась, раздумалась и как словно догадалась: ведь люблю я тебя. За жизнью-то как-то недосуг об этом, а тут вот...

— А я-то нешто так с тобой жил? Как, бывало, в город уедешь с мясом — изведусь весь, инда есть неохота, так скучаю. А когда ты в больнице лежала, думал: кабы не померла, а то и мне жизни не останется.

Авдотья опять вытерла слёзы. Она всё шла впереди, а он стал вспоминать, когда же он подошёл к ней в самый первый раз? Как сватались — хорошо помнил, свадьбу и потом, а самый первый раз не припоминался.

И вдруг как солнцем посветило. Водили тогда в лугах хороводы, плясали кадрили, играли. Она была проворная, не хуже челнока, никто её поймать не умел. И он вспомнил, как он бежал за ней. Летел будто со зла, аж цветы в полосы сливались, и, чем ни дальше бежал, вроде сил прибавлялось. Она стала увиливать и он поймал её прямо за косу. Прижал со всей мочи, она с искаженным лицом вырывалась, щипала с вывертом, а потом присмирела, как дерево под дождём.

— Авдотья, а ты помнишь, в лугах играли?

— А то разве нет! — Она глянула на него молодыми зоркими глазами и всё перевернулось у него в душе. — Всё до капельки помню.

Около речки они свернули с дороги и долго стояли над кручей, отражаясь в зелёной воде.

— Устала, я что-то, посидим давай.

— Сыро ещё. — Он бросил пиджак на плотную, чуть только пригнувшуюся под тяжестью траву. Они сели. Авдотья рвала былинки и что-то плела из них, это у неё всегда: чтобы руки не пустовали. У обоих на душе было как-то ново, непривычно.

— Эх, бутылочку бы теперь!

— Ну её, она вон, болтают, из нефти.

— Всё-то ты знаешь! — Он шутливо толкнул её, она покраснела, опустила голову.

И он её обнял.

Землепроходец

На дорожных ухабах машину так подкидывало, что в иную секунду нас охватывало холодящее чувство невесомости.

— А-а-а-ай! — кричали мы в лад со старухой.

За невесомостью следовал короткий, беспощадный, обрывающий сердце удар.

— Убьёшь, нечистый дух! — причитала старуха, отчаянно вклепываясь в борт сухими коричневыми руками.

Напряжённо стонущий, свистящий, ухающий ветер скорости упруго, как вода, окатывал и омывал лицо, крепко бился о подставленную щёку, то трепал, то с хлопком надувал синюю, выгоревшую на загорбье старухину кофту. Встречные машины часто обдавали нас душной пылью.

И эта пыль, и бешеный ветер, и жёсткие толчки как-то удручающе вытрезвили меня.

Тоскливо стал я подумывать, что напрасно взялся за это тяжёлое незнакомое дело. Лёгкость, с которой я согласился, фальшиво бодрую уверенность выдуло из головы, и только мучительное предчувствие беспомощности не брал никакой ветер. Теперь мне было ясно, как нехорошо обманул я и обнадёжил людей.

Вчера перед вечером я случайно зашёл в редакцию. Я немного писал и был вхож туда, но всё равно не ожидал, что редактор так обрадованно остановится передо мной, так возьмёт меня за плечи, введёт в свой большой, полный серого света кабинет, так весело повернётся ко мне и скажет:

— Валяй-ка ты, брат, в командировку!

Из редакции я вышел, как пьяный. Все мои сомнения и робкие возражения редактор потопил громкими беззаботно-уверенными восклицаниями:

— Всё прекрасно получится! Очерк напишешь, жизнь понаблюдаешь, воздухом подышишь деревенским! Брось, брось скромничать, вот тебе удостоверение, ступай аванс получать!

Весь вечер я всё перечитывал своё удостоверение, листал купленный тут же корреспондентский блокнот, восхищавший меня именно своей простотой и серостью бумаги. Я представлял, как приеду назад, а блокнот будет весь исписан торопливыми строчками, полон таинственных, одному мне понятных пометок. Блаженное состояние не покидало меня и сегодня всё утро, пока я не сел на этот сумасшедший грузовик и не помчался по этой вытрясающей душу дороге.

Машина пролетела сквозь маленький негустой весёлый лесок и выскочила на ровную возвышенность, с которой вдруг далеко открылась зеленеющая, желтеющая, синеющая земля. Внизу блестела и была нам солнцем в глаза речка. Меня раздражало, что я теперь ни на что не мог глядеть бескорыстно: всё рассматривал с мыслью, как бы это положить в слова.

У речки грузовик тормознул, точно ударился в стену. Из кабины, невинно хлопая белесыми ресницами, высунулся наш мучитель — плотный, как обрубок, краснолицый шофёр.

— Пошли купаться, граждане!

— У, ёрник! — без сердца проворчала старуха. — Тебе только дрова возить и то не по полному кузову...

— Ладно ругаться, бабуся, давай-ка я тебя сниму. Ты ещё меня блинами должна угостить за скорость.

— Берёзовой кашей, — пообещала старуха, слезая с борта к нему на руки.

Шофёр разделся, с радостным гоготом влетел в речку и, ныряя, с минуту беспрестанно кричал и трубил от удовольствия. Я полез вслед за ним. Вода была необыкновенно свежа, душиста и солнечна. Плавая, я даже позабыл свои чёрные мысли о ждущей меня неудаче. Глядя на нас, старуха тоже подобралась бережком к самой воде, наклонилась и стала умываться. Она поддевала воду старческой угловатой горстью и оплескивала своё испуганно напрягавшееся лицо.

От речки у нас пути с шофёром расходились. Он переехал через мост и ударился прямо, пыля и бухая кузовом. Мы же повернули вдоль берега и тихо тронулись к пестреющему неподалёку крышами селу. После купания идти было легко и я совсем весело посматривал на млеющие под солнцем поля, на сизые, угрюмо-величественные вёты, на празднично-белые облака над ними. Сперва я шёл молча, а потом подумал, что какой же я газетчик, если не выпытываю у старухи, как у них идут дела в колхозе, нет ли вопиющих недостатков, довольна ли она председателем. Я хотел было задать тонкий наводящий вопрос, но она опередила меня:

— В город мыкалась, к дочери. Квартиру смотреть новую. Легко народ жить стал. Ни по воду тебе не идти, ни баню топить, ни, прости бог, до ветру выходить — всё тут, в избе.

Я засмеялся. Она тоже засмеялась беззвучным старческим смехом.

— Только вот лазить к ней высоко, на четвёртый, милушки мои, этаж. И лестницы эти такая кручь, сил нет. Молодым-то горя мало. Машут, как козы. Крылья у них.

— Дочь-то не зовёт в город? — спросил я её тем несколько фальшиво-заинтересованным тоном, каким разговаривают с детьми.

Фальшивый вопрос мой вызвал у старухи печальный, полный светлой кручины вздох:

— Звала. Больно звала. И чего, говорит, ты, мама, будешь одна в деревне колотиться. Приезжай ко мне и живи, отдыхай, говорит, за свои труды. Да и мне, дескать, твою старость потешить лестно... Уважительная она... — Старуха провела концом платка по глазам, будто проверяя, нет ли слёз, и сказала другим голосом: — А куда я от земли поеду? С детства к ней, как пуповиной, приросла. Нутром чую: как её брошу, так с этим и жизнь моя кончится. Пустая будет, как выбитый подсолнух.

Она покосилась на мой блокнот:

— Ты чего пишешь, аль писатель какой?

— Нет, — сказал я не без оттенка загадочности, — просто так.

— А то к нам в третьем годе приезжал один. Всю деревню сгоняли в клуб — его слушать. Пузатенький такой.

Я, грит, говорить много не умею, я, мол, пуще того пишу. Однако часа два рот не закрывал. Говорит, как воду це-дит. Нас всех в дрёму кинуло. Потом ходил он по коров-нику: «Представьте мне двух доярок, чтобы у них молока много было, да которые бы сперва меж собой поругались, а потом помирились...». Смеялись над ним...

«Конфликт искал», — подумал я и опять тоскливое предчувствие неудачи холодком пролетело по сердцу.

...Ночевал я в большом деревянном доме заезжих. Ве-чером полистал истасканные до бархатистости журналы, умылся под старым чёрным рукомойником, твёрдо отбил все атаки любителей домино и завалился спать. Ночью пошёл дождь. Сон мой был тонок, как первый ледок на речке, его то и дело протачивали полыньи каких-то тре-вожных мыслей, и всю ночь я слышал ровный, зловеще-спокойный шорох дождя.

Утро было мрачным. Ночь так и не ушла из села. Она только отодвинулась на тот край неба и глядела чёрной, ни единым лучиком не высвеченной тучей. Сумрачное затмение висело над землёй. Через окно, избитое редки-ми рябинами дождя, виднелась мокрая понурая улица со следами иссякнувших ручьёв. Две берёзы — одна боль-шая, другая маленькая — беспрестанно кланялись и ма-хали кому-то зелёными руками.

Я собрался, нацедил на кухне из титана крутого ки-пятка, попил чаю со вчерашней булкой и сидел ждал, когда придёт время открываться учреждениям. Номерок, в котором я спал, был маленькой, в одно окно комнатен-кой. Промеж двух кроватей стояла голубая коренастень-кая тумбочка. На соседней кровати никто не спал.

По коридору раздались шаги, потом косо сидящая в косяках дверь дёрнулась, весь мой номерок колыхнулся и звякнул стёклами.

— Можно взойти?

Я с любопытством повернулся к порогу. Ко мне вхо-дил широкий крепкий старик в мокрых резиновых сапо-гах, в плоском картузе и парусиновом пиджаке с тёмными метинами дождя. Он посмотрел на меня как-то прикиды-ваяще:

— Вы, что ли, писатель будете?

Кровь звонко ударила мне в голову, я вспыхнул, как пойманный за воровство.

— Простите, с чего вы взяли?

— Вчера Авдотья Утихина сказывала, ехали вы с ней, что ли, вместе. Я бы так не пришёл, но уж больно мне сейчас писатель нужен.

Старик прошёл от порога, сел на стул и снял фуражку. Был он лыс, с сивыми бровями и усами, с мясистым носом, со свежими голубыми глазами. Сидел, сплетя короткие пальцы на толстом подчревке, и под пиджаком у него выдавалось небольшое, крепкое, как лукошко, брюшко.

— Ты об чём писать-то хочешь? — спросил старик.

— Как сказать... — запинаясь от смущения, проговорил я. — Не решил ещё.

Он понимающе кивнул головой.

— Вот что. Напиши-ка ты, голова, про моего землепроходца. Далеко ходить нечего.

— Что за землепроходец?

— Сын мой Илья, — хмуро сказал старик, — от рук отбился. Как только я к нему ни применялся: и добром просил, и матерным словом касал, только что боем не бил — нету толку. Вот если бы в газете пропечатать.

— Да что же он такое сделал?

— А вот ты слушай. — Он поглядел в окно, прошёлся тёмной рукой взад-вперёд по гладкой, как точило, голове. — Я тебе сейчас обскажу всю историю как есть, а ты запиши, что нужно. Моя такая просьба: представь всё в газету, чтобы напечатали. Я там порядков не знаю, но если дело того коснётся, уплачу, сколько встанет.

Я уверил его, что никаких в таких случаях денег в газете не берут.

— Егором меня зовут, — сказал старик, — Егор Андреевич Наумов. Восьмой год вдовый живу. Дом у меня, може, видел, как в село входить — на правой руке. Под шифером, с синим крыльцом. Старуха моя умерла в одночасье. Сердечница была. Тесто месила да так на квашню и повалилась. Дочерей я ещё при ней замуж роздал. Остался со мной Илюшка — последыш. Одни мы с ним и жили. «Батя», «сынок» — других слов меж нами не было.

Всё он мне вечером книжки читал. Из школы, что ни год, грамоты носил. Сручной был к ученью.

Я, торопясь за стариком, черкал какие-то нелепо сокращённые слова. Он иногда коротко взглядывал на меня (пишу ли), а больше всё смотрел себе под ноги да ещё в окно.

— Жили-жили да и дожились. Кончил он десять классов, пришёл домой с голубой бумагой и легонько так меня по лысой голове обушком стукнул: «Уеду, батя...» — «Куда? Зачем?» — «В Сибирь... на стройку или на целину землю пахать». Как варом окатил. Это ещё, мол, чего! Вон она, пашня-то, от избы сто сажень. Хоть заутро иди да паши. За тыщу вёрст ездить нечего. Пашня, говорит, да не та. Тут работников полно, а там земля без людей пустует. Ну так что пустует, из-за этого теперь обжитую бросать? Уедем все — тут пусто будет. Бурьян вырастет. Говорю с ним тихо, а самого исподыма бьёт. Уедет, думаю, останусь один, как волк. Человечий век не меряный — кувыркнётся и глаза закрыть некому. Там-то от него людям хорошо ли, плохо ли будет — не узнато, а для меня до самой смерти разор душевный.

— А как же остальные едут? — возразил я, бросив свой блокнот. — Тоже ведь с кем-то расстаются.

Он глянул на меня твёрдо, с несокрушимой убеждёностью:

— Ты других не равняй. Там один едет, а семеро на месте сидят. Поехала бы у меня любая дочь, так я бы словом не обмолвился. Катись, матушка. Зарабатывай славу. А тут сын, последний. Уедет, как солнце закатится.

— Не по-государственному вы рассуждаете, — сказал я, вставши на ноги и поглядев на старика сверху, — не по-народному.

Старик тоже легко встал со стула, мы оказались вровень друг другу. Он смотрел пронзительно и зло.

— Не по-народному! А ты спрашивал, что ли, народ-то? Нет — так спроси. Скажи, мол, народ честной, хорошо, если от отца последний сын сбегать будет? Все жить начнут не поймёшь, как. Один тут, один там. Семьи поразвалятся, всё в кучу смешается. От этого державе не укрепление, а вред несметный. Я про это не в книжках

прочитал, а по ночам думал, каждое слово из-под сердца вытаскивал.

По лицу и голове старика пятнами пошла краснота. За окном ветер носил дождевую струю с крыши, то давал ей, радостно захлёбываясь, падать в ведро, то откидывал в сторону, разбивая в крупные глухие капли.

— Пиши, — сказал старик, — всё, как есть, пиши, люди разберутся.

Он опять сел на стул.

— Спорил я тогда с Ильёй с неделю, со всех боков подходил. Узнавать его перестал. Жёсткий он сделался, с дичинкой какой-то. Бился я бился да и рукой махнул. Пусть едет. Сухари съест — назад воротится. Петух-то его не клевал жареный, так клюнет... Уехал Илья. Кровать его осталась. Книжки на угольнике. Тоска на меня напала — домой бы не всходил. Через неделю письмо получаю: «Пришли, батя, валенки». Занесло тебя, думаю. Мы ещё в калошах ходим, а там уже ноги зябнут. Послал валенки. В другой раз карточка приходит. И он, и не он. Одни глаза остались да кадык ещё на шее. Пишет: «Кладём мы дорогу. Кругом лес». Собрал я ему посылку: масла, сала солёного. А сам всё жду. Приедет, думаю, неправда.

Старик в волнении переложил картуз с колена, кашлянул в кулак, потом зачем-то помял лицо рукой и замолчал.

Я глядел на старика и какая-то фальшь была у меня в душе. Я искал и находил в уме подходящие слова против его рассуждений, но ничего не мог сделать с жалостью, которую чувствовал к этому неправому и несчастному человеку.

— Теперь три года живу один, — глухо промолвил Егор Андреевич. — Каждое лето в отпуск он приезжает. Поживёт две недели — и опять за чемодан. Да уж лучше бы не приезжал.

— Почему? — спросил я.

— Да так. Плохой ему тут отдых. Я каждый день с утра пораньше за своё берусь: оставайся, живи дома, не бросай старика. Он свою верёвку тянет. Тяжело ему. После каждой перепалки, как надтреснутый, парень ходит. А один раз, веришь ли, голова, полез я на сеновал, а он лежит там

лицом кверху и щёки у него мокрые. «Плакал, что ли?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — чихал...»

А мне ещё тяжелее. Как только уедет он, будто землю из-под меня выдернет.

Егор Андреевич опять переложил картуз.

— Сейчас тут он. Вторую неделю живёт. Дней через пять укатит. И не удержу я его никакими вожжами.

Старик снова замолчал. Долго смотрел в окно. На улице вроде начало проясняться. Мутный солнечный свет, процеженный сквозь белёсую мглу, нехорошей желтизной лежал на просыхающей под ветром земле. Чёрная туча нехотя расползалась на грязные лохматые обрывки... Стекло в окне всё принималось тонко и жалобно звенеть.

— Ну, напишешь? — спросил Егор Андреевич.

— О чём же мне писать?

— Да вот об этом. Что сыновья отцов бросают, едут неведомо куда. Про меня напиши. Что жизнь моя вся разлетается. Напишешь?

— Нет, — сказал я.

Он тяжело посмотрел на меня с тоскливым презрением, а я не отвернулся и не потупился, хотя было мне очень тяжело.

— Все вы на одну колодку, — произнёс Егор Андреевич и встал. Надел картуз, не попрощался, отворил, в сердцах раза два толкнув, заевшую дверь. У порога обратился:

— На тебя жаловаться-то куда?

— Прямо в газету, — ответил я. — Письмом.

Старик ушёл, а я долго лежал на кровати, ворочая в себе тяжёлые мысли. Бескровный солнечный свет тихо сиял на крашенных стенах.

Теперь я зажил непривычной для себя беспокойной жизнью командированного. Ходил по учреждениям, записывал, куда мне надо съездить и кого повидать. На улице было холодно, грязно и в номерок я заходил, как в дом родной. Заботы росли. Я так втянулся в эту беготню, в эти разговоры, словно больше никогда ничем и не занимался. Потихоньку жизнь села открывалась мне и входила в меня. Я уже знал, что зловещий ночной дождь означает не просто дождь, а тяжело намокшие валки скошенного

хлеба и неподвижные комбайны, угрюмо чернеющие в мёртвой тишине поля. Теперь уж я хотел солнца не для настроения — какая это мелочь! — а для большого остановившегося дела. Народ в райкоме был озабочен и хмуро-деловит. С уборкой не ладилось.

— Кого хвалят-то? — допытывался я.

— Не поймёшь! — махнул рукой председатель колхоза Бочкарёв. — С утра хвалят, к вечеру ругают. Пора такая. По одному уху гладят, а в другое бьют.

Вечерами я, неловко примостившись у тумбочки, писал. Засыпал поздно, с чувством прочной радости, зная, что мне завтра делать и куда идти. За делами впечатления от разговора с Егором Андреевичем как-то притупились. Я стал спокойнее думать о нём, твердо решив, что в последний день зайду и поговорю.

Получилось иначе. Перед закатом я сидел у гостиничного двора на лавке и смотрел, как солнце, садившееся в том конце улицы, грозным пламенем зажигало в окнах неистовое полыханье. Какая-то старуха, то и дело переходя с рыси на шаг, поспешала по улице. Вглядевшись, я узнал в ней свою попутчицу.

— Милый... милый... — начала она ещё издали, завидев меня, — а ты подь-ка, подь-ка сюда!

Я пошёл ей навстречу.

— Дерутся ведь, истинный бог, дерутся!

— Кто? — спросил я встревоженно.

— Илья с Егором, — задыхаясь, проговорила старуха, — а у нас и сельсовет на замке, и в правлении одна уборщица. Я уж к тебе побежала, не уймёшь ли ты их? Переколотятся ведь окаянные!

«Ну, дела! — подумал я. — То плачут, то дерутся, не поймёшь, с какого конца смотреть на эту историю».

Мы быстро пошли по улице к дому Егора Андреевича. Авдотья, торопясь за мной, на ходу выкладывала подробности:

— Егор-то мужик кряжистый, а Илья — лёгкий, как ве-
ник, так и отлетает. Я в окошко заглянула: батюшки, воль-
ный свет, польщутся! У меня сердце к ногам укатилось.

Коротко стукнув в дверь, я вошёл в избу. Светлая комната вся была залита красным заревом заката, Егор

Андреевич сидел на сундуке спиной к свету в знакомой мне позе, сплетя руки вокруг живота. Напротив, у стены, сидел худенький парнишка в ковбойке. Глаза у него были тёмные и спокойные, кожа туго обтягивала скулы и лоб, блестящий костяным блеском.

Отец и сын повернули головы в нашу сторону. На моём лице, должно быть, была написана готовность к решительным действиям. Оттого, что они не дрались, я на секунду замешкался, потом неуверенно сказал:

— Здравствуйте.

— Доброго здоровьица... — нелюдимо ответствовал Егор Андреевич.

Илья встал с места и тронул за спинки два стула, приглашая садиться. Я кивнул ему головой. Авдотья вышла на середину комнаты и взяла разговор на себя.

— Сидит, смиренный, — напустилась она на старика, — будто и не знает ничего. Только ведь я всё видела. Вот парень-то уже напишет про тебя в газету да ещё на карточку сымет.

— Хоть статую слепите! — зыркнул в нашу сторону глазами Егор Андреевич. — Немного страху-то.

Илья неожиданно засмеялся свежим молодым смехом, блеснул против солнышка зубами и, будто ливнем, смысл повисшую в комнате напряжённую неловкость.

— Смелый у меня отец! Только вот в Сибирь ехать у него духу не хватает. Огорода жалко.

— А что же, — с вызовом сказал старик, — и жалко. Это вам он — репьями зарастит. Носитесь, как стрижи. А настоящей любви к земле в вас не видно.

— Ну, ты, батя, напрасно, — опуская белёсый козырёк бровей, проговорил Илья, — землю я не меньше твоего люблю, сам знаешь. Только ведь земля-то у нас большая. Всю её любить надо, а не ту, что плетнём огорожена.

Я присел на стул, старуха прошла вперёд и села под тёмной, без иконы, божницей. В комнате стучался тяжёлый, красный, как арбузная мякоть, сумрак.

— Вам легко говорить, — упрямо продолжал Егор Андреевич, — вас, молодёжь, куда ни ткни, вы корни пустите. А вот старей-то дуб выверни-ка с места. Куда его потом? На дрова разве?

— Рано ты себя на дрова обрёк, — сказала Авдотья, насмешливо обегая взглядом его крепкую фигуру, — тулово-то вон, как сбитень, рубаха трещит.

— Да что я, мерин, что ли? — с гневом и раздражением напустился на нас старик. — Что ты мне по тулову цену определяешь? Ты в мою душу заглядывала, карга?

— Ты заматерись ещё, — предупреждающе глянул на отца Илья и, повернувшись ко мне, добавил: — Как распалится, ни за каким словом не постоит.

— Уж лют-то, лют! — подтвердила Авдотья. — Сейчас вот об душе своей плачется, а чуть чего — в душу мать...

— Дура, — смутился Егор Андреевич, — присловье такое.

Илья засмеялся и опять, как ветром, разогнал надвинувшиеся было тучи.

Я смотрел то на смеющегося Илью, то на темнеющую против света глыбу Егора Андреевича и верил, и не верил, что они тут час назад, по словам Авдотьи, «полосовались».

Старуха с непримиримой настойчивостью продолжала допекать не остывшего ещё Егора Андреевича:

— Ты поперёк души идти не хочешь, а у него, чай, такая же душа! Или себя больше сына любишь? У меня вот тоже дети, да разве я им руки вязать буду? Конечно, всякому родителю жаль с детьми расставаться, так ведь, если птенцов всю жизнь из гнезда не пускать, они и летать не будут.

Егор Андреевич волком развернулся к старухе, тяжело нагнул голову, словно наконец-то собравшись наброситься на неё всеми силами:

— Насчёт своих детей молчи! Тоже мне, родительница! Раскидала их по свету, теперь к другим с советами лезешь. Чать и городов-то всех не знаешь, где живут. Родить не штука — курица сумеет, а вот семью поведи-ка попытай. Да и с другого конца если взять: этот, — он указал рукой на Илью, — в Сибирь едет, все морозы его будут, а ты ведь прошлый раз сама же хвалилась: «Уж моя Зинаида устроилась! Водопровод у неё там работает, газ горит, на дверях занавески плисовые». Теперь вам, ясное дело, можно и людей учить!

Старуха встала со своего места, надвинулась на Егора Андреевича, как-то по-молодому прищурилась и заговорила гневно, с язвительной расстановкой, словно на блюде подавая ему каждое слово:

— Ах, как ты всё упомянул до тонкостей! И про занавески не забыл. Только ты, Егор, запоматывал, как Зинаида из деревни-то уходила? Аль память отшибло? А ведь в войну она уходила! Пятнадцать лет девчонке было. Помнишь, тогда таких-то все в ФЗУ брали? Да давали им полкило хлеба на день. Зинаида ушла— я неделю белого света не видела, всё плакала, а в письмах небось и словом не обмолвилась, что брось, мол, всё, доченька, приезжай назад. Сам знаешь, сколько в моей бабьей жизни тогда радостей было. Одна лямку тянула. А ты теперь занавески увидел...

Она распалённо подступала к старику, а Егор Андреевич, утрюмо насупившись, только беспокойно ёрзал по сундуку и молчал.

— Правильно вы его, тетя Дуня, пробираете! — с веселым восхищением проговорил Илья. — Надолго он вашу баню запомнит.

Илья поднялся со стула и посмотрел на меня, как бы говоря: пошли-ка отсюда, без нас здесь управятся.

Улица засыпала. Сонно темнели нахохлившиеся кусты в палисадниках, устало боролись с сумраком белеющие наличники окон, сладкая дремотная истома наполняла оцепенелый воздух. По дворам то кое-где заперхает овца, то глухо ударит ногой в подойник корова и хозяйка сердитым голосом скажет: «Но-но, не стойся тебе...», то сквозь сон испуганно заквохчет оступившаяся на насесте курица, но все эти звуки ничего не могут поделать с властной силой надвигающейся тишины.

Мы с Ильёй присели на лавочку около плетня и первое время молча курили, глядя в пустынное, ещё светлое небо. Из дома вперемежку доносились то укоризненно-увещательные речи старухи, то глухие возгласы обороняющегося Егора Андреевича.

— Ну, попало ему сегодня, — с тихой усмешкой проговорил Илья, — молодец старуха!

Он внимательно посмотрел на меня чёрными со смешливинкой глазами и опять улыбнулся:

— К вам, что ли, отец жаловаться приходил?

— Было такое дело.

— Ну и как? — Его лицо сделалось серьёзным. — Прав он, по-вашему?

— В одном, безусловно, прав, — ответил я, подумав, — врозь вам жить нельзя.

— Это я знаю. — Он медленно нагнул голову и отцовским жестом потёр высокие залысины. — Только как ни мозгуй, а выход отсюда один: отец должен ехать со мной. Мне назад уже хода нет. Даже ради него. Прикипел я там намертво. Предательством было бы сбежать. — Он говорил спокойно и устало, как о давно отстоявшемся в душе решении. — Только вот, чтобы сдвинуть его с места, надо шею сломать. Ну да ничего, теперь он уже, кажется, поддаваться начал, не заметили?

— Не заметил, — честно признался я, — мне показалось, даже наоборот совсем.

— Это вы просто его не знаете. Весь его запал нынешний — последнее усилие. Завтра он мягче будет.

— Да ведь ваша соседка говорит, что вы сегодня «пелосовались», серьёзно это?

— Ерунда, почудилось ей со страху. Просто старик нынче шутку такую выкинул — комедия целая. Собрал все мои документы и в сундуке запер. Небось, говорит, без паспорта не уедешь. Он прямо иной раз ребёнком становится. Ну, я разозлился, как трахну по этому замку обухом — только звон пошёл. Как батя мой вскинется! Сгрёб меня за грудки и трясёт. Силён он, леший!

— Ну и что?

— Потряс, потряс да и выпустил. Смутился вроде даже. — Илья замолчал, потом прижал ко лбу крепкие, с волнистыми разводами жил кулаки и проговорил глуховато: — Но всё равно увезу я его с собой. Не я буду, если не уломаю! Вот увидите!

На улице медленно зажигались редкие огни.

Я уезжал через два дня. Стояло прохладное ясное утро с ядрёным воздухом, с сиреневыми облаками, с деревьями, искупанными росой. В такое утро мир кажется впервые увиденным. Я думаю, это от солнца. Едва поднявшись над горизонтом, оно косо бьёт по земле лучами

и до мельчайших подробностей высвечивает каждый бу-горок, каждую росинку, каждую натянутую на траве паутинку или соломинку. Днём всего этого обычно не замечаешь.

В голубой с мокрыми боками автобус грузились пассажиры. Я тоже собрался было лезть на своё место, но обернулся и вдруг увидел идущего к остановке Илью. Он шёл торопливым шагом, с рюкзаком за спиной и двумя чемоданами в руках.

Провожал его Егор Андреевич.

Илья заметил меня и, улыбнувшись, кивнул головой. Когда они подошли, я принял у него чемоданы и сунул их в заваленное мешками брюхо автобуса, потом поздоровался со стариком:

— Отпускаете, значит, сына?

Егор Андреевич посмотрел на меня своим оценивающим взглядом и сказал с каким-то вызовом:

— Кой чёрт отпускаю, сам еду со всей требухой!

— Да ну! — вытаращил я глаза от удивления. — Неужели решились?

— А что ты думаешь? Решил на старости лет за молодыми жвахнуть. Тоже землепроходцем стал. На-ка вот, держи ещё один баул, чего рот-то настезь оставил?

Я схватил чемодан и потащил его в автобус.

— Ты, брат, смотри не пиши, о чём мы тогда с тобой разговаривали, — негромко заговорил Егор Андреевич, усевшись сзади меня на сиденье. — Я не то чтобы передумал, просто переварить хочу. Если Илья так за своё дерётся, значит, в этом какая-то правда должна быть. Не пиши пока, слышь?

— Это ещё как сказать, — пробормотал я себе под нос.

Впервые за всю командировку я почувствовал в себе поднимающуюся уверенность и мне показалось, что редактор был прав, когда воскликнул: «Всё хорошо получается!».

Личная жизнь

После совещания Ежов и Данилин договорились идти в ресторан ужинать. Они не были закадычными друзьями, просто вместе учились, но Ежов, пять лет проработавший в деревне и успевший растерять из души институтскую атмосферу, увидев Данилина, почувствовал такую радость, такую нежность к нему, что ему стало казаться, будто они всегда были именно закадычными.

На совещании Данилин — теперь главный агроном областного управления — выступал, и Ежов вновь слушал с сентиментальной гордостью его изысканную чистую речь и любовался непринуждённостью Сашкиных манер. Что-то странное наплывало на него: не воспоминание, а какое-то давнее студенческое самоощущение. Что-то смутное, невыразимое: запах аудитории, что ли, полумрак коридоров или глухое волнение на экзамене — не поймёшь, но было ознобно, сладко.

Молодец всё-таки Сашка! И внешне не изменился, и, видно, ни одного любимого жеста времени не подарил. Как законсервированный, чёрт.

Самого же Ежова жизнь обкатала грубо и бесцеремонно. Чуть не со студенческой скамьи он стал председателем и, как натянул ляжку, как обмял хомут, так от всего другого словно отключился. Вставал в пять, ложился в двенадцать, целыми днями крутился по хозяйству и эта жизнь поглотила его целиком. Он находил в работе упоение и радость, но иногда замечал, что огрубел, опустился, потерял душевную тонкость, стал каким-то слишком уж прямолинейным, глухим ко всему, что не касалось дела. Но он, пожалуй, и не жалел об этом, и ничего не хотел другого, кроме грубого счастья работы.

Рано заматеревший душой, Ежов удивлялся людям, у которых с годами не терялась юношеская беспечная

лёгкость. В коридорах областных ведомств он иногда останавливался у кружка полнеющих молодых людей, занятых приятными разговорами, тонкими анекдотами. В деревне Ежов и сам слыл остряком, некоторыми его изречениями пользовался весь колхоз, но тут его юмор не шёл: крут был, солон, неуклюж.

А вот Данилин с полнеющими молодыми людьми разговаривать умел. Он вступал в разговор легко и непринуждённо, с полуслова, и они сразу принимали его, и весь дальнейший разговор вели уже с учётом Данилина, чего никогда не сделали бы для Ежова.

Вот и сейчас. В раздевалке, пока Ежов с сопеньем натягивал пальто, Данилин успел переговорить с гардеробщицей о её вязанье. Та оживилась, растянула перед Сашкой рукоделье, стала объяснять, какая вязка пойдёт кверху, какая в рукавах, пожаловалась, что не хватает ниток на грудь.

— А вы декольте оставьте, — посоветовал Данилин.

На улице мело и крутило. Дома тонули в снежном дыму, где-то совсем рядом тяжело грохотали невидимые трамваи, люди лицом к лицу выныривали из снежной мглы.

В ресторан Ежов и Данилин вошли, блестя засыпавшим их снегом, с мокрыми весёлыми лицами. Сдобное ресторанное тепло, уют обласкали их. Швейцар уважительно принял у Данилина одежду. Так же отнёсся он к пальто и шапке Ежова. У швейцара был намётанный глаз и он сразу почувствовал, что этот высокий мужчина с провинциальной внешностью, обутый в белые бурки, — из тех, кто имеет власть над людьми. В поведении Ежова не было ни властности, ни надменности, но где-то в глубине взгляда дремали добродушно-снисходительная сила и сознание собственной цены.

Причесавшись и поправив галстуки, Ежов с Данилиным стали подниматься по просторным маршам лестницы.

— Давно в ресторане не был? — спросил Данилин.

Ежов только рукой махнул:

— Не помню. Должно быть, с отпуска. Год.

В огромном двусветном зале почти все столики были заняты. В воздухе нежно синел табачный дым, стоял ров-

ный монотонный гул голосов, звонкий дребезг сходящихся бокалов, властный топот официанток.

За ближайшим от входа столиком озоровал лысый мужчина. Откидываясь на стул, он всё затягивал:

Вы слышали, как поют дрозды-ы-ы...

Три женщины настойчиво дёргали певца за рукав и по-гусиному шипели:

— Вася, ты же не дома. Это же ресторан, Вася! Вася!

Тяжёлые облака запахов съестного поплыли на голодного Ежова и он с вожделением подумал о щах, о рюмке водки, о чёрном хлебе с горчицей. Ловко виляя меж столиками, Данилин направился в противоположный угол. Ежов шёл за ним со всегдашним выражением спокойного добродушия и оно каким-то образом не давало замечать ни довольно смешных здесь бурок, ни гладко выстриженного затылка, ни красной расчёски, высоко торчащей из карманчика заграничного пиджака.

— Вот тут сядем, — сказал Данилин, найдя столик с надписью «не обслуживается».

Подошедшая официантка хотела было остановить их, но Данилин её опередил.

— Пригласите Елену Ивановну.

Официантка замешкалась, но, увидев, как важно Данилин вытащил из кармана гнутую курительную трубку, повернулась и ушла в боковую дверь.

Легко, весело, складно получалось у Сашки! Появилась Елена Ивановна — в дорогом чёрном платье, плотная, низкорослая, чем-то смахивающая на пони, вставшую на дыбы. Он ей в один миг и ручку поцеловал, и Ежова представил, и занятный рассказ сплел о двух пирожках с морковью, которые они — такие мужчины! — за весь день только и проглотили.

— Ах вы бедненькие, ах вы бедненькие, — повторяла Елена Ивановна. — И накормить-то вас без меня некому.

Официантка стала обслуживать с солдатской расторопностью. Сдержанно звякнув, легли на стол ножи и вилки, появились рюмки, графинчик водки, тарелочка с балыком — официантка словно карты сдавала.

Данилин между делом рассказывал Ежову, как на втором курсе он пришёл с девушкой в ресторан. Всё так славно

было, необыкновенно, пока Данилин не сообразил, что у него не хватит денег рассчитаться. Он сказал, что ему нехорошо, вышел из ресторана и без пальто, без шапки в лютый мороз помчался в общежитие за деньгами. Когда возвратился, оказалось, что девушка за всё расплатилась и ушла.

Ежов хорошо знал эту историю, но слушал всё равно как новую и радостно похохатывал.

— Ладно, — сказал Данилин, — выпьем, Алёшка, за студенческие времена. Хорошая была пора, честное слово! Голодноватая, а хорошая. Иной раз фотографию нашего выпуска возьму и растрогаюсь, как старуха: лица молодые, чистые, в глазах свет какой-то. Золотой народ!

Они выпили и с удовольствием взялись за балык.

— Ты в деревне-то как питаешься? — спросил Данилин, по-интеллигентному мелко работая челюстями.

Ежов задумался:

— Чёрт знает... Столовая там у меня. Пекарня... Ну, молоко выписываю, яйца. По утрам яичницу жарю, картошку... Как попало, в общем. А что?

— Не надоела холостяцкая жизнь? Сколько тебе? Двадцать девять? Н-да... Пора, пора. — Данилин попыхивал трубкой и насмешливо поблёскивал очками. — Ты вот сегодня на совещании о перспективах рассказывал. А в этом смысле есть перспективы? Полноценные кандидатуры есть?

Ежов подождал, пока подоспевшая со щами официантка поставит тарелки, потом, закряхтев от удовольствия, хлебнул несколько раз тяжёлой ресторанной ложкой и пробормотал неохотно и неразборчиво:

— Нет никаких...

— Э-э-э, не годится! Я понимаю, когда люди не женятся из каких-то соображений: нет квартиры, положения, другого чего-то. А твой путь обозначен. Судьба ясна. Очаг, очаг нужен. Ну, давай перед щами выпьем. Я думаю, сельские-то девчата перед тобой хороводом ходят, а?

Ежова горячо смущал и притягивал этот разговор. Сашка теперь казался ему именно тем человеком, с которым он давно хотел поговорить. И само собой получилось, что Ежов повёл речь о самом потаённом, что бывало у него порой не в мыслях даже, а вроде бы за мыслями.

— Ни хрена передо мной не ходят. Боятся меня, что ли, не понимаю, брат. Иной раз зло берёт. Говорю с молодёжью по службе, шучу этак, знаешь, по-отечески, «заботу проявляю». А самому тошно. Тон этот собственный бесит: старший с младшим разговаривает. Чувствую в этом фальшивость, а по-другому не могу. Разучился по-другому. А может, и не умел никогда, кто знает.

Позвали раз на свадьбу и тут я как-то на отшибе оказался. Начальство, шишка! Всем, смотрю, «стрелецкую» подают, а мне — «экстру». Я поднялся над столом, не годится так, говорю, товарищи, давайте уж или то, или это всем пить. Хозяин смутился, у гостей лица какие-то каменные сделались.

А в клуб как я танцевать приду? Только покажусь — вроде шорох пройдёт: «Председатель!». Может, и нет этого, а мне кажется. Постою-постою, поговорю с заведующим вроде бы о делах — и на выход.

За работой — другое дело. Там всё ясно, понятно. Там мне легко. Люди как родные. Когда дело ладится, просто чувствуешь, кто чем дышит, и любишь их, и они тебя любят.

— Ну а личная жизнь твоя в чём заключается?

— Ты моё выступление на совещании слышал? Вот и личная жизнь. Вся тут. Пашу с утра до вечера.

— Смотри, Алёшка. Не перегибай палку. Работа есть работа, жизнь есть жизнь. Всему свои пропорции. Много я видел на своём веку энтузиастов, которым на работе осталось только спальню разместить. Есть в них что-то жалкое, а то и похуже. Они же из чистейшего эгоизма и злости отлиты. Из-за чего они на работе-то горят? От любви к делу? Чёрта с два! Чтобы другим глаза колоть. Вот, мол, все какие нехорошие: приходится за них лямку тянуть. А сам, стервоза, как о манне небесной мечтает, чтобы ближний на работу опоздал или, ещё лучше, прогул учинил. Да чтобы с разбирательством, с собранием. — Данилин опять оставил еду и раскурил трубку. — Я, конечно, не имею в виду, что тебя эта участь ожидает. Ты из другого материала. Но всё-таки учти: сам не заметишь, как зачерствеешь. Будешь радоваться только силосным курганам да поголовью свиней. Веселее надо жить, Алёша, шире.

Ежов дохлебал щи, отодвинул тарелку и с маху выпил фужер пива.

— Эх, правильно ты всё, видно, Сашка, говоришь, да только ничего уж со мной не поделаешь. Характер дурной, не умею я ничего делать вполсилы, оглядываться, прицениваться. Влезу в работу и всё для меня меркнет. Времени как-то нет рассуждать. Ты вот тут в конторе сидишь, столоначальник. А впрягись-ка в мой воз! День с ночью перепутаешь, не только личное с общественным.

Данилин широко развёл руками:

— Вот демагог! Да разве я призываю работать вполсилы? Вкалывай, сделай одолжение. Но не хочешь ли сказать, что твой расхристаный быт повышает производительность труда? Или этого родина требует? Я ведь с чего начал? С очага. Вот и ещё повторю: очаг создавай. Хочешь откровенно? — Данилин отвёл трубку в сторону, наклонился через стол и, понизив голос, проговорил прямо в лицо Ежову: — Тебе элементарно баба нужна. Э-ле-мен-тарно. Не красней, старик. Я ведь знаю тебя и смею предполагать, что ты не юридически только холостяк.

Ежов от смущения засопел и стал озираться.

— Ну тебя к лешему, что ты, в самом деле, навалился!

— Кроме меня, тебе этого, может, никто не скажет, а я скажу: баба, баба и баба... Женщина! Богиня! Которая бы на тебя ответ бросала, облагораживала, толкала на подвиги. Женись, Алёшка! Человеком себя почувствуешь. Ты парень способный, в работе настырный, рано или поздно в верха пойдёшь. В этой перспективе и смотри на женитьбу. Хочешь, я о тебе позабочусь? Ну, ладно, не красней, выпьем!

Между тем шесть музыкантов разного возраста, поднявшись на эстраду, усаживались к инструментам, негромко и буднично переговаривались, прокашливались, собирались грянуть. Лысый Василий за дальним столиком переборол женщин, поднялся и без помех страстно прокричал:

— Вы слышали, к-как поют дрозды-ы-ы...

Не обращая на него внимания, музыканты ударили. Они заиграли громко и оживлённо, поводя плечами, подрагивая ногами, а ударник, тот прямо подпрыгивал, как казак в седле. Посетители присмирели и принялись за

выпивку. Сыграв первую пьесу, музыканты сделали паузу и громыхнули опять. На помост выплыла певица. Высокая грудь её мерцала мириадами мелких украшений. Певица запела и Ежов с удивлением отметил про себя: уж очень развязно она держится.

— Кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует с ней в сердце своём, — сказал Данилин, глядя на Ежова. — Хочешь, мы ей записку пошлём?

— Вот зараза, — восхищённо проговорил Ежов. — У неё, наверное, после этого целый вечер лицо дёргается!

Песня подходила к концу. Стриганув бровями, певица взяла сверляще-высокую ноту. Млечно-белые руки её поплыли к слушателям. Василий заплодировал.

— Ну, послать записку?

— Иди к дьяволу.

— Чудак, может, у тебя сегодня новый этап в жизни начнётся. Дерзай. Посадишь её в такси, ноги ей в сумраке шубой укроешь. В подъезде она руку из муфточки извлечёт, протянет тебе для поцелуя. А ты говори: мы, мол, рук женщинам не целуем, уж извините. «Отчего же?» Привыкли, мол, по-простецки, по-христианскому. Она удивится этак наигранно: «Как это — по-простецки?». Ну, тут ты её и сграбастай, чтобы у неё между лопатками хрустнуло. Для артисток это самое лучшее обхождение.

Ежов засмеялся. Хмель осторожно и ласково прикоснулся к его сознанию, снял корку постоянной угрюмости, освежил. Жёсткие очертания мира смягчились, потеплели. Захотелось рассуждать.

— Удивительно просто, как люди меняются, — заговорил он без особой связи с предыдущим. — Просто катастрофически как-то. Вот ты мне про институтскую фотографию рассказывал. Какие ребята были, чёрт побери! А теперь кого из наших ни встретишь — другой, ну, совершенно другой человек! Помудрели все, чёрт подери, потолстели. Сияние-то исчезло. Удивляться люди разучились. Всё им известно — что есть, что будет, что почём... Давай ещё пивка попросим. А ты, я смотрю, всё по-старому взбрыкиваешь. Зависть берёт.

— Друг мой! — почти закричал Данилин. — Да в том жизненная наука и состоит, чтобы взбрыкивать. Хотя ты

великой личностью будь, а умей иной раз на руки встать и ногами в воздухе подёргать. Сам мужай, а душе не давай. Так-то. Помнишь Малаховского? Академик с сединами, а в гололёд с горы на заднице катался. Сядет на портфель и дует до самой Волги. Неужели не помнишь?

— Помню, помню, — радостно и растроганно говорил Ежов.

Ресторан жил. Он тихо рокотал, курился запахами, синел дымом, постоянно принимая в огромную тёплую утробу свежих, пахнущих мартовской метелью людей. Хлопали двери, блестели зеркала, шипели отбивные, и над всем этим победительно гремел железный голос и подымались млечные плечи певицы.

— Ах, хороша! — прищёлкнул языком Данилин. — Решайся, Алёшка. Есть у тебя бланк колхозный? Прямо на нём и начертай в своём духе: «Ожидаю только положительного решения вопроса».

Давно уже Ежов не чувствовал такой беспечной лёгкости. Встреча с Сашкой, ресторанная болтовня, все эти хохмы, институтские воспоминания оживили и разогрели ему душу. «Надо, надо вот так развеиваться время от времени, — думал он, — а то уж, действительно, мхом обрастать начал».

Была у него за сегодняшним ужином и сверхзадача: он хотел попросить Данилина помочь протолкнуть заявку на поливальные трубы, но как-то не хотелось сворачивать на другие рельсы, разрушать настроение.

Оркестранты ушли на перерыв. Мелко перебирая ногами, спутанными платьем, певица изящно, а по правде сказать, с грехом пополам сошла с подмостков, сохраняя на лице подобие обворожительной улыбки.

— Посмотри-ка направо, — сказал Данилин. Ежов посмотрел. Две вошедшие в ресторан девушки искали глазами столик. Прищурясь, они вроде бы холодно оглядывали рокоchущий зал, но по странному наитию почувствовал вдруг Ежов всё их тайное смущение, всю силу женской стыдливости, попранной этим дерзновенным шагом — без мужского покровительства прийти в поздний ресторан и стоять в его наглом свете под всякими взглядами, пока не удастся где-нибудь притулиться. У

склонного к состраданию Ежова даже сердце кольнуло от болезненной жалости.

— Пригласим их, — попросил он Данилина.

— Тихо, Алёшка! Нас они не обойдут. Все столики заняты. Везёт же тебе!

Одна девица всё-таки чувствовала себя поуверенней. Большеротая, с причёской вроде чалмы, с решительно подрисованными глазами, она как-то вписывалась в ресторанную картину. А вот вторая, которую, собственно, и было жаль Ежову, не вписывалась. Вторая стояла, беззащитно уронив вдоль хрупкого туловища тонкие смуглые руки. Чёрные волосы падали на плечи. Из небольшого трапециевидного выреза платья явственно выступали ключицы. На смуглой шее синим огоньком посвечивала скудная ниточка стекляшек. Видно было, сколько душевного отчаяния требовалось ей, чтобы сохранять вид дамы, для которой хождение в ресторан — обычное, даже несколько наскучившее дело.

Сашка оказался прав: девушки двинулись в их сторону. Большеротая — первая; чернявенькая — за ней. Ежов вдруг почувствовал себя неуютно. Сядут — надо с ними разговаривать, острить. А Сашка был, как всегда, в своей тарелке. С ласковым любопытством смотрел он на приближающихся. Шли девицы с достоинством — прямо светские дамы. За одним столиком стареющий мужчина высоко поднял бокал пива и, весь потянувшись к ним, проговорил что-то с жадным восторгом в голосе. Девица с чалмой на ходу скосила на мужчину глаза и произнесла одно только слово:

— Замучаешься!

Мужчина сел. Девушки подошли к столику, спросили, свободно ли.

— Разумеется, свободно, — ответил Данилин. — Мы вас, можно сказать, ждали.

Они глянули на Сашку заинтересованно, уселись, с преувеличенной учтивостью стали передавать друг другу меню. С непривычки к женскому обществу некурящий Ежов закурил. «Так хорошо было, — думал он, с трудом отводя глаза от монашеского профиля чернявой, — испортили всё эти пигалицы».

Чернявая глядела в створку меню, приблизив к Ежову худую нежную руку с шоколадным пятном родинки над локтем. От неё расточался едва уловимый запах духов. Надо было завязывать беседу.

Ещё и ещё раз подивился Ежов Данилину. Спокойно переводя взгляд с одной на другую, ни на минуту не теряя учтвого, непринуждённо-покровительственного тона, Сашка предложил девицам помощь в выборе напитков. Те не оскорбились, да и не могли бы оскорбиться: с ними говорил не подвыпивший забулдыга, а молодой человек в отлично сшитом костюме, с тонким лицом научного сотрудника, а может, следователя. Завязался разговор и Ежов с облегчением почувствовал, как отпускает его охватившее поначалу оцепенение. Чернявенькая повернула к нему своё схимнически-скорбное лицо и спросила обезоруживающе:

— А вы кто?

— Золотопромышленники с Колымы.

Она засмеялась. Удивительно было, как смех преобразил лицо чернявенькой. Оно сделалось чуть старше и грешнее, мелкие морщинки отскочили от уголков глаз к вискам, брови, подрагивая, поднялись страдальчески вверх и по всему лицу разлился свет её чистых, не вполне ровных зубов. Потом в продолжение вечера Ежова всякий раз поражала эта смена лица: то благостно-кроткое, то — когда смеялась — лукавое, оживлённое, призывно-красивое лицо женщины, знакомой со многими радостями жизни.

Взглядывал он и на большеротую с её ярко-малиновыми подвижными губами, с полого выдающейся подковой зубов, с жидким блеском влажных плутоватых глаз, но чернявенькая своей игрой физиономии возбуждала в нём просто болезненное любопытство. Было неловко, но он постоянно глядел на неё.

Звали девушек Катя и Нина.

Завтра Ежов хотел попасть на приём к начальству; а это лучше всего делать на свежую голову. Но принесли красного, девицы подняли бокалы, чернявенькая кротко и вопросительно посмотрела на замешкавшегося Ежова. Пришлось выпить. «Ёрш получается, чёрт побери, — подумал он, — ещё один бокальчик, а там начну отказываться». Он вообще не любил много пить.

Скоро за столом сделалось легко и непринужденно.

Данилин, жестикулируя со сдержанным благородством, рассказывал крепкие, но вполне приличные анекдоты. Большеротая Нина с преувеличенным хохотом валилась на спинку стула.

А вообще во всём вокруг чувствовалась усталость. Ведомый с двух сторон швейцаром и милиционером, покинул ресторан лысый Василий. Музыка гремела не так бравурно и певица при пении меньше работала лицом. Ей никто не аплодировал. Новых посетителей почти не было. Столики начинали пустеть.

— Ой, как у меня голова кружится! — говорила Нина, хохоча и откидывая голову. Всё больше противореча своему монашескому облику, Катя курила. Затягивалась по всем правилам, по-мужски.

Ежов терпеть не мог курящих женщин и ему жаль было расставаться с трогательно-светлым впечатлением, которое произвела на него чернявенькая вначале.

«Вот всегда так, — мрачняя, думал Ежов, — сперва кажется — сокровище, а присмотришься — самая обыкновенная и пьющая баба».

Из ресторана они уходили поздно: уже потушили верхний свет. Музыканты складывали инструменты. Чернявенькая взяла Ежова под руку и, наваливаясь всем телом, с притворным кокетством спросила:

— Алёша пойдёт меня провожать?

— Ну а как же! — хмуровато ответил Ежов, которому некуда было деваться.

Катя оглянулась по сторонам, поднялась на цыпочки и зашептала в самое ухо, чтобы даже и большеротая не слышала их общей с Ежовым тайны:

— Тогда нам надо взять с собой вина.

«Лежал бы я лучше сейчас в гостинице, — тоскливо подумалось Ежову, — читал бы газеты и ни о чём не думал. Нет, надо было ввязаться в историю».

Он пошёл в буфет и взял бутылку вина.

Швейцар отворил тяжёлую, закиданную снаружи рыхлым творожистым снегом дверь и выпустил их на ослепшую и оглохшую от метели улицу.

По каменистому ущелью города, ни на секунду не

утихая, с какой-то осмысленной остервенелостью, визжа в проводах и ветвях жидких деревьев, бешено хлопая задржавшимся на крыше листом железа, всё затопив собой, всё сокрушая и валя с ног, победно и неистово неслась разыгравшаяся вьюга. Всякие городские звуки поглотил её отчаянный, радостный, безысходный вопль, не умолкающий и не ослабевающий ни на минуту. Словно метель, ворвавшись в каменный, чуждый её природе и вяжущий крылья город, беспрестанно кричала: победила! победила!

Высоко в поднебесье смутно и немошно белели пятна фонарей. Из тёмных тоннелей проходных дворов высывались на тротуары дымящиеся языки сугробов.

По старой, сохранившейся с детства крестьянской привычке Ежов подумал что-то вроде «не дай бог, если кто в поле сейчас». Он даже не подумал, а, скорее, с коротким содроганием сердца вообразил вставшую посреди дикой беспросветной степи заметённую снегом лошадь и смутно темнеющую фигуру мужика, пошедшего нащупывать безнадёжно потерянную дорогу.

Мокрый, неуловимо пахнувший свежим огурцом воздух метели выбил из Ежова весь ресторанный дух и вернул его сознанию обычную тяжеловатую основательность.

«Нечего мне её провожать, — подумал он, — посажу в трамвай и пусть себе едет».

Наклонившись вперёд и придерживая шапки, они шли с Данилиным рядом. Дамы, повернувшись к ветру спинами, пятились впереди. Большеротая что-то кричала, но ветер проносил её слова мимо, словно подсолнечную лузгу. В боковой улице, куда они свернули и где было потише, Ежов сказал Данилину:

— Чего это мы их ведём?

— Ну, заробел, девственник! Чего тебе терять? Это в деревне у себя ты на виду, а здесь можно. Не всё равно, где ночевать? Это я не могу. В конце концов, она тебя сама тащит. Она, ей-богу, ничего!

Больше всего злило Ежова то, что в душе у него было желание поехать.

«Видно, в самом деле жениться надо, — с болезненной откровенностью думал он, нарочно не защищая от ветра

исхлёстанное лицо. — Поведишься вот так на ночлеги ездить, избалуешься. Будет тогда у тебя личная жизнь».

На перекрёстке они неожиданно остались с чернявенькой один на один. Данилин легко помахал рукой, крикнул:

— Завтра... управлении, старик... — и, повернувшись, ушёл по ветру. Большеротая тоже скрылась как-то незаметно.

А они остались.

Катя подошла к большому завьюженному Ежову и, потянувшись, стала рукавичкой стряхивать снег с его шапки. Ежов бормотал что-то неразборчивое и крутил головой. Он совершенно не знал, как себя вести, и больше всего стеснялся смотреть ей в глаза.

— Какой ты высокий, — сказала она. — А правда, где ты работаешь?

— Председателем колхоза.

Лицо у неё дразняще переменялось от смеха. «Всё,— подумал Ежов, — придётся ехать».

— На такси поедет? — обречённо спросил он.

— Вот ещё, расхотаться! До меня всего шесть останков. Вон троллейбус идёт, побежали.

Бежать он, конечно, не стал, крупно зашагал за ней, а она неумело, по-бабьи побежала вперёд, округло поводя манерно отставленной рукой. На ней было сшитое в талию пальто с узеньким дешёвым воротничком. Совсем-совсем незнакомая, чужая ему девушка.

В троллейбусе они всё время ехали молча. Народу почти никого не было. Лицо у Ежова было мокрое, он злился. Она сидела, прислонившись к нему, молчала и только время от времени взглядывала на него как-то виновато и выжидательно. Видно, она всё-таки робела перед Ежовым, в глазах которого, несмотря на все душевные терзания, устойчиво держалось начальственное выражение.

«Зачем ты меня ведёшь? — думал он. — Ведь я завтра уйду и кану. Потом, что же, другого надо будет искать? Молодая, хорошо выглядишь. Вышла бы замуж...»

Словно мокрой тряпкой, колотил по окнам троллейбуса ветер. На повороте колёса с тяжёлым скрипом и со-

дроганием давили снежные заносы. Когда на остановках отворялись двери, в них врывались искрящиеся облачка снега.

Никогда Ежов не попадал в такое глупое положение.

— Ну вот мы и приехали, — сказала она, беря его за руку. — Нам ещё немножко пешком пройти.

Они пошли какими-то глухими, тёмными, занесёнными дворами. Здесь ветра было меньше, но с крыш то и дело несло мельчайшую снежную пыль, неприятно оседавшую на лице.

— А ты не боишься? — спросила она.

— Кого?

— Да ведь как рассказывают: заведёт девушка парня в глухое место, а потом его раздевают.

Данилин, наверное, сейчас как-нибудь бы сострил, а Ежов не умел играть в такие словесные игры и сказал серьёзно:

— Я сначала пятерым хребты изломаю, потом уж меня разденут.

Катя замолчала.

Ёе дом оказался в самой глубине каменного двора, сдавленного отовсюду домами и похожего на большой колодец. Взяв Ежова за руку, она повела его по тёмной лестнице не то на четвертый, не то на пятый этаж. На лестнице стойко пахло заброшенным амбарным сусеком, мышами. Взойдя на площадку, они остановились. Катя прижалась к Ежову и потянулась к нему смутно белеющим в темноте лицом. Что-то дрогнуло и оттаяло в душе у Ежова. Он поправил мокрую шапку, легко приподнял изумлённо охнувшую девушку под мышки и, пробормотав: «Ах ты, цыганка...», — поцеловал.

— Какой ты сильный, — проговорила она чужим, ослабленным голосом. — Пойдём.

Они вошли в сильно пахнущую газом кухню со множеством горелок, на которых неизвестно зачем пылали и высоко прыгали синие языки пламени. Толстая старуха в цветном байковом халате, с засаленными седыми волосами скоблила ножом сковороду.

— Здорово, бабушка! — сказал Ежов своим бессознательно-наигранным начальственным тоном.

Старуха косо глянула на него и промолчала. Но, когда они, миновав кухню, пошли длинным сумрачным коридором, она явственно и хрипло произнесла им вслед:

— Опять ведёт!

У привыкшего к достоинству и людскому почёту Ежова всё тело зазнобило от унижения.

«Куда меня несёт, чёрт поberi!» — яростно закипая, подумал он.

На Катю же старухин возглас не произвёл, кажется, никакого впечатления. Она отомкнула дверь самой дальней, угловой комнаты, включила свет и ласковым, родственным голосом сказала:

— Заходи.

Велев Ежову снимать пальто, она сама вышла и скоро из кухни стали доноситься приглушённые, перебивающие друг друга голоса: чистый, сдержанно-злой — Катин и естественно-спокойный, хриплый — старухин.

С тяжёлым сердцем Ежов осматривался по сторонам. За последние годы он как-то уж и позабыл, что на свете существуют такие комнаты. В ширину комната была два ежовских шага. В ней уместались железная, «варшавская», кровать, солдатская голубая тумбочка и табуретка. Высокий старый потолок со следами какой-то лепки был покрыт зеленовато-сизыми потёками. На огромном, во весь стенной проём, окне висела кипенно-белая, но от этого какая-то ещё более бедная тюлевая занавеска. Вообще во всём чувствовалась аккуратная женская рука, из всех сил старающаяся придать жилищу «вид». Весь Катин гардероб, снизанный на вешалку, висел, прикрытый марлей, на гвозде. На тумбочке стояла главная роскошь и гордость комнаты — небольшое трёхстворчатое зеркало, отражавшее расставленные вокруг него склянки и пудреницы.

Чего не мог равнодушно выносить Ежов — человеческую бедность. Выросший в многодетной крестьянской семье, где к ломтю хлеба относились почти с религиозным чувством, он ощущал болезненное сострадание к бедному человеку и что-то очень похожее на вину перед ним. Людей, пребывающих в бедности из-за безделья и лени, Ежов не терпел.

— Что ты хуже старой вдовы живёшь! — при всем народе «прохватывал» он недавно в правлении вздорного и ленивого мужика Евстигнеева. — Крыша у тебя седлом села, забор на землю лёг. Разве ты меньше всех получаешь? Или у тебя семеро по лавкам? Нынешней же весной приведи избу в порядок и не позорь колхоз. Материалы выпишем.

Там, в колхозе, он был хозяином и знал, как ему быть и что делать, а здесь, сразу лишившись, будто колдун породы, неких могущественных сил, опустившись до нелепой и чуждой роли соблазнителя с бутылкой портвейна в кармане, которого может оскорбить любая старуха, Ежов чувствовал стыд.

Если бы знать про эту кухню, про всевидящую старуху — ни за что бы не пошёл! У него появилось желание сейчас же встать и уйти.

«А она-то как же? — подумал вдруг Ежов. — Она ведь тоже шла по этому коридору. Сейчас вон со старухой собачится из-за меня».

Он поднялся и, не зная, что с собой делать, стал пристально глядеть в тёмную прорубь окошка.

В коридоре послышался злой стук Катиных каблучков.

— За своей, за своей последите! — крикнула она, не доходя до двери. — А я вам не сноха.

Чавкнув, отворилась неподалёку дверь и чей-то голос пробасил в коридор, как в пустую бочку:

— Дайте покою, дьяволы!

У вошедшей Кати блестели от злости глаза и нежно алели скулы, но каким-то непостижимым усилием души она переменила выражение лица и глядела на Ежова с ласковой теплотой, точно говоря: злое лицо — это для них, а для тебя вот это, хорошее.

«Ладно, — подумал Ежов, — останусь, только скажу, чтобы постелила мне на полу. Пусть что хочет думает».

Заставив его отвернуться, Катя переоделась в старенький застиранный халатик, неплотно сходявшийся на груди, сняла сапожки и стала ниже ростом, обыкновеннее, проще.

— Ты знаешь, — говорила она, проворно переставляя склянки с тумбочки на окошко, — мы как зашли в ресто-

ран, я сразу тебя заметила. Я ещё толкнула Нинку, говорю: вон парень сидит.

— Не сочиняй! — тоном замечания сказал Ежов. — Не могла ты меня заметить.

— Эх ты! — неестественно горячо и обиженно произнесла Катя. Подошла и сжала его разгоревшееся в помещении лицо узкими прохладными ладонями. — Ты думаешь, я бы пошла с тобой так? Ты мне сразу понравился. Мы с Нинкой, помнишь, выходили? Я говорю: ой, Нинка, я в эти плечи влюбилась! Она говорит: на тебя очкастый посматривает. А я ей: не надо, мол, мне никаких очкастых. А старухе ты не верь: никого я сюда не вожу. У неё камни в почках, вот она и злится. Ребята иногда приходят, но чтобы я с кем-нибудь оставалась — никогда не было. Когда девушка одна живёт, к ней всякую грязь прицепляют. А мне хорошего хочется! В прошлом году я с одним парнем, правда, ходила. Ничего мы не допускали, гуляли только. Он меня встречал вечером и мы по всему городу гуляли, аж ноги гудели. И так мне было тогда хорошо, спокойно на душе. Потом его в армию взяли, молоденький ещё был. Два письма прислал, я смотрю, для приличия пишет. Ну и не стала отвечать.

Она всё держала широкое, лобастое лицо Ежова в ладонях и глядела на него, запрокинув голову. Лицо у неё даже чуть побледнело от волнения и чистые, цвета спелого желудя, глаза с большими тёмными зрачками сияли безгрешным светом.

Ежов поцеловал её в крепкие, целомудренно сложенные губы. Верить всем её словам было глупо, но ему хотелось верить, и как-то полегчало на душе.

Катя принялась хлопотать, а Ежов подошёл к окну. Во всём доме была тишина, только ветер снаружи с шипением тёк вдоль стены, смолкал на мгновение, потом дико взгогатывал.

Ежов, пожалуй, и сам не замечал, как бессознательно ум его продолжал постоянную привычную работу. Смутным фоном стояли далёко отсюда знакомые до последней ложбины поля перед Луцановкой, утонувшие в снежном дыму. Перед отъездом Ежова на заседании правления долго спорили, делать или не делать ещё раз снегозадер-

жание. Говорили: не будет снегопадов, нечего зря трактора гонять. Агроном Пичурин прямо за грудки брал механика Быстрова и кричал:

— Циклон идёт! Циклон идёт, невежественный ты человек.

— Ну и что? — вызывающе отвечал Быстров. — Что ты своим циклоном докажешь, когда никто в районе не задерживает?

Не без колебаний склонился тогда Ежов на сторону агронома, и вот теперь он с неосознанным удовольствием слушал широкие порывы ветра и чувствовал себя как школьник, который сидит в кино и все уроки у него к завтрашнему дню выучены.

И вдруг Ежов почувствовал, что у него вроде бы само собой, без его участия решилось в душе и другое. Всё происходящее теперь между ним и Катей не может мелькнуть и исчезнуть, не оставив никакого следа. Что-то из этого должно вырасти для него большое и хорошее. Ежов знал себя: решения, которые приходили к нему вот так, исподволь, были самыми крепкими.

— Ну, что же, — полувопросительно сказал он, — давай моститься? Ты мне брось что-нибудь на пол, пальто укроюсь.

У Кати дрогнули губы, она обиженно опустила ресницы.

— Ну, что ты загрустила?

Наклонив голову, Катя ничего не отвечала, потом подняла на него влажно блеснувшие, полные обиды глаза. Это поразило Ежова. Смущённо и неловко обнял он её хрупкие, незащитные плечи и пробормотал:

— Ну, я пошутил, пошутил...

Утром он проснулся рано и, не зажигая света, стал одеваться. Услышав его возню, Катя подняла с подушки голову и быстро села на кровати, удерживая у плеч простыню.

— Уходишь?

— Я очень спешу. Ты спи, спи... — трезвым хриплым голосом проговорил Ежов.

Кате показалось, что он уже перешёл совсем в другой мир и ей не принадлежал нисколько. Сейчас оденется

и уйдёт. И нет ему дела до того, что происходит у неё в душе. Она ведь не просит, чтобы он оставил свой адрес, хоть бы поцеловал на прощанье.

Но Ежов сделал как раз наоборот. Он подошёл к смутно сереющему окну, нацарапал что-то впопыхах на листке из записной книжки и положил на тумбочку.

— Здесь мой адрес. Напиши. А я в следующий раз тебя разыщу. Ладно? Обязательно напиши.

Катя кивнула головой. Она сидела в той же позе и слушала, как удаляются по коридору чёткие солдатские шаги Ежова.

Крестьянское гнездо

Родимая сторона

В деревню Малые Выселки приехал учёный Бердяев — высокий узкоплечий старик с длинным, без морщин, жёлтым лицом, с блёкло-серыми ироническими глазами, доктор медицинских наук, профессор. По случаю зимнего бездорожья привезли его на хороших райкомовских лошадях, запряжённых цугом в небольшие кокетливо-аккуратные санки, из которых пышно выступало и как бы лилось через края крупнотравное клеверное сено, перебитое голубоватой снежной пудрой. Профессор был в тулупе и валенках, лицо его на встречном ветру несколько не потеряло достоинства, только длинный нос стал отливать костяным блеском и сделался полупрозрачным.

Сидевший за кучера Славка Круглов рассказывал, что на подъезде к Выселкам доктор наук как-то забеспокоился, зашевелился в санях, вытягивал шею, смотрел по сторонам расслабленным взглядом и часто сморкался.

— А как же, — понимающе говорили люди, — родная сторона здесь. Пятьдесят лет, говорят, не был. Проймёт...

Когда-то Малые Выселки были отдельным колхозом, но потом утратили самостоятельность, сделались бригадой, многие съехали на центральную усадьбу и теперь родная деревня профессора, в отличие от крепких, богатых, красивых сёл, через которые довелось ему проезжать, выглядела несколько пустынно, скуающе. Однако встретили его достойно. На бригадном доме висел плакат «Гордимся нашим земляком-учёным Бердяевым!», маленькая стройная девчушка совершенно городского вида — медсестра, как потом оказалось, — подала ему огромный каравай со стеклянной розеточкой вместо солоницы, а потом отважно чмокнула профессора в щёку. Бригадир, по фамилии тоже Бердяев, снял, несмотря на мороз, с лысой головы шапку и собрался произносить речь.

— Наденьте шапку! — строго сказал профессор. — И не надо никаких речей.

— Ничего, — возразил бригадир, — я тезисно.

В клубе накрыли стол, угощали профессора нарочно для такого случая сваренным обедом: на первое кислые щи, за ними сычуг с кашей, потом крепкий тёмно-коричневый квас с тёртым хреном, а вокруг всего этого были и блины, и курник, и грибы, и особенным образом запечённый тёртый картофель под названием битыш. От водки Бердяев отказался и бригадир после известного колебания приказал убрать её со стола, веско при этом заметив:

— Она только жизнь сокращает.

Разговор шёл сперва в том смысле, как долго Егор Тимофеевич не видел родных мест, как тут всё изменилось. Выяснилось, что никто из пожилых толком не помнит Бердяева в молодые годы, хотя слышать слышали много: сиротой рос, ходил в батраках, а потом вот превзошёл все науки. Профессор чуть не по очереди расспрашивал каждого: кто он, чей, как звали отца, деда, вспоминал что-то, покачивал головой, потом со вздохом вымолвил:

— Другая генерация!..

Расспрашивал о колхозных делах, о достатках и всё кивал умной профессорской головой с нежным пухом на затылке и вздыхал.

— А у меня есть медицинский вопрос про рак, — слышался с другого конца голос заведующего мельницей Кудряшова, который, как видно, сумел всё-таки «сократить жизнь». — Неужели ж наша наука перед ним спасует?

Бердяев встал с места. Заметная сутулость нисколько не портила его осанки, а, наоборот, придавала ей значительность, величавость. Как-то чудно переплёл профессор длинные, красивые пальцы и стал говорить.

— Дорогие мои друзья, я рад... — Говорил он внятно, отчётливо, и самые обычные вроде бы слова обретали в его устах звучность, округлость. Сначала он всех благодарил, потом посетовал, что никого уж не осталось, кого он знал в дни отрочества и помнит до сих пор, потом рассказал, как жилось в Малых Выселках в прошлые времена. — ...Что же касается медицинских вопросов, друзья, то я с большим удовольствием прочитаю вам попозже

что-то вроде лекции, а потом, кстати, я мог бы посвятить вечерок, чтобы принять больных, коли таковые окажутся, разумеется.

Когда выходили из-за стола, бригадир взял профессора под руку:

— У нас тут есть старичок один. На пенсии, почётный колхозник, Селезнёв Архип Иванович. Может быть, он вас и помнит...

Профессор остановился, всем туловищем откинулся назад и посмотрел на однофамильца строго, требовательно:

— Как-как зовут?

— Архип Иванычем.

— Архип... — тихо сказал профессор и крепко помял лицо пальцами. — Архип Иваныч... — Голова у него чуть зарозовела и на лицо легла тень какой-то думы. — Я его, братец, знаю...

Полвека, думал профессор, помилуйте, какая страшная глыба времени! Сколько же это пережито, если в конце жизни начало её кажется нереальностью, неосязаемой мечтой, дымкой. Вот и Архип... Это же из какого-то другого бытия.

...Оба они были рослые, поджарые и скорые. Вместе четыре зимы ходили в училище, а потом, когда Егор остался сиротой, а из семьи Архипа взяли мужиков на войну, у одного хозяина были в работниках. После революции вступили в комсомол, в ячейку, как тогда говорили, и до сих пор памятна та жизнь, полная молодого волнения, ожидания чего-то необыкновенного, звавшая далеко и обещавшая много. Именно Архипа уговорил тогда Егор Бердяев идти в город учиться. И утром, по холодку, ушли они из деревни в лаптях, с караваем хлеба и луковицей в тощем мешке. В многолюдном, самым собой озабоченном городе читали вывески на каменных домах, искали, куда бы определиться. Мудрёные названия учреждений пугали. Остановились наконец около четырёхэтажного шелушащегося здания. Архип, склонив голову набок, прочитал на чёрной блестящей доске: «Геофизический институт».

— Вот сюда нам, наверное, надо, Егорка.

— А ты откуда знаешь?

— Читай вон, видишь: гео — земля, значит. А мы кто? Крестьяне. Вот и выходит, что сюда.

В институт их, конечно, не взяли по недостатку грамоты, и Архип, помотавшись по городу два дня и проевшись вконец, ушёл в деревню. Перед уходом даже заплакал с досады. А Егор обратно не пошёл, устроился в больницу санитаром и отсюда начался его научный путь. Жизнь мотала, носила по всей стране, а вот в родные места так, по обстоятельствам, и не довелось приехать.

«Неужели тот самый Архип? — думалось профессору. — Батюшки, да ведь это всё равно что встретиться с молодостью лицом к лицу. «Гео — земля». Немедленно, немедленно надо его увидеть».

— Где я с ним могу встретиться? — спросил профессор у бригадира.

— Как будет удобно: или сюда его подвезём, или домой к нему проехать можно.

— Разумеется, поедem к нему. Но раз уж договорились о лекции, откладывать нельзя. А потом — к нему, к нему.

Читая лекцию, Бердяев оглядывал сидящий в зале народ, надеясь, если Архип здесь, узнать его и попытаться представить, как могло время изменить его облик. «С бородой, конечно, должен быть, лысина не исключена, у него характерные уши, крупные, прижаты к черепу, и веки тяжеловаты. А меня он вряд ли узнает».

Лекция затянулась, потом Бердяеву пришлось идти в медпункт, принимать больных. Молоденькая медсестра тряслась от волнения, но профессор обходился с ней уважительно, звал коллегой и время от времени вроде бы даже советовался. На больных он произвёл сильное впечатление, входил во все мелочи, всё записывал и ободрял.

— На что жалуетесь, бабушка?

— Всю сшило, вздохнуть не могу, пока сижу — ничего, а встать стану — так и прострелит, разымат нарочно.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как это «разымат», — азартно говорил профессор, слушал, выстукивал старуху, писал себе в тетрадь что-то непонятное, размашистое. — Сердце у вас превосходное, хватит ещё на столько. Прелестное сердце. А вот поясница, нда-с... Подгуляла поясница.

Уже стемнело, народ кончился, усталый Бердяев собирался снимать халат и чепец, когда через порог шагнул высокий жидкобородый старик в белых валенках и бараньем малахае. Глаза его, подёрнутые от мороза слёзной пеленой, мокро блестели. Старик снял шапку, открыв крепкую лысую голову, остановился у двери и посмотрел на Бердяева как-то выжидающе.

— Проходите, проходите, — проговорил Бердяев своим сочным спокойным голосом, хотя предчувствие уже легко и стремительно прокололо его.

— А я тебя сразу узнал, — медленно, с каким-то напряжением в голосе сказал старик. — Сильно ты на себя похож остался, всё такой же долгоносый.

— Архип! — закричал Бердяев.

— А то кто же. — Старик сморщился и вытер глаза малахаем. — Самый что ни есть Архип.

— Здравствуй, дружище! — Профессор схватил старика за руки, потом обнял и повёл к столу. — Я уже слышал о тебе и весь день думал. Это удивительная встреча, просто удивительная. Ах, чёрт побери! Помнишь, как ты говорил: гео — значит земля! Помнишь, а? Молодые были...

— Да-а, — растроганно тянул Архип, присаживаясь на стул и надевая шапку на колено. — Признал, выходит. Спасибо. А мне бригадир сказал. Он ведь тоже Бердяев, Бердяева Созона внучатый племянник, может, помнишь.

Молодость всплыла перед ними со щемящей отчётливостью и они, перебивая один другого, вскрикивая, размахивая руками, торопились рассказать друг другу о том, что оба помнили из той молодой жизни.

— Помнишь, как в тебя Назарка Калитин вилами кинул?

— А ты с лошади упал и по всему луту провёзся.

— А ты на балалайке играл...

— А сельский Совет как сожгли, ты бумажки спасал...

Каждая мелочь, каждая подробность волновала их, поила сладким питьём воспоминаний. Медсестра сидела у стола и, подпершись рукой, смотрела на них с выражением, отдалённо похожим на то, с каким смотрит мать на играющих детей.

— Ну, расскажи, как ты жил, всё расскажи.

— Да чего же мы тут-то? — спохватился Архип. — Чать дом у меня есть, али обойдёшь? Я ведь вдовый теперь, в прошлом году схоронил старуху. Изба большая, ночевал бы у меня. Там бы уж и поговорили.

— Да, да, да! — горячо подхватил Бердяев. — Непременно ночую, непременно.

Изба у Архипа действительно была большая — восьмиоконный пятистенник. В передней комнате стояла огромная «варшавская» кровать, накрытая стёганным одеялом, платяной шкаф, диванчик и приёмник на табуретке. От круглой, горячо истопленной печи тянуло теплом. Ходики с кошачьей мордой на циферблате тикали на стене, вызывая ощущение уюта.

Архип изжарил на плитке яичницу, принёс чашку синеватых груздей, вытащил из шкафа бутылку. Бердяев не стал отказываться и рюмочку выпил.

— Прекрасно тут у тебя, — говорил он Архипу. После выпитого разговор потёк ещё живее. Архип то и дело вытирал рукавом глаза.

— А песен-то наших не помнишь?

— Отвык, не знаю...

— Да и я уж пою теперь редко, так, себе под нос, кое-когда, а бывало, тянул голосисто.

Спать легли, когда по дворам, крепко хлопая крыльями, стали кричать кочета. Но и лёжа долго ещё разговаривали.

Архип положил гостя на кровати, а сам лёг на диван. Луна мощно лила свет в окна, создавая в избе зеленоватый сумрак. Откуда-то издалека доносился ленивый и невыразительный лай собаки.

— А почему у тебя этого не слышно, — сказал Бердяев, — как его... сверчка?

— Пропали они куда-то, — живо откликнулся Архип, — вывелись. Летом скрипел один, да, видать, ушёл.

— Тишина в деревне... Полное отключение нервной системы. Хорошо... В наше шумное время огромная ценность. Бессонницей не страдаешь?

— Нет, сплю аккуратно. Да и вообще здоровья, можно сказать, не лишился. Вот только крыльца присыхать стали.

— Что-что?

— Ну, лопатки, по-другому сказать. Замертвеют, как вроде присохнут, и руки поднимать тяжело.

— Банки! — уверенно сказал Бердяев.

— Накидывал, мало они помогают. Когда Авдотья-покойница жива была, она мне крыльца-то в бане отдирала.

— Как, то есть?

— Обыкновенно: натопит баню, я эти места с веником распарю, она мне после этого руку завернёт за спину, да крыльцу-то и отдерёт от места. Много лучше бывало.

— Совершенно правильно, в сущности, делала, — задумчиво проговорил Бердяев.

— А теперь некому. Никто не умеет.

— Скажите, какая сложность! — обиделся профессор. — Я вполне отодрать могу.

— Без бани-то как отдерёшь...

— Знаешь что, Архип... — Бердяев даже сел на кровати, свесив мосластые ноги. — Останусь-ка я у тебя денька на два. Все знакомые места мы с тобой обойдём, повспоминаем. А завтра чудесным образом баньку истопим и крыльца я тебе отдеру.

— Поживи, поживи, — растроганно вымолвил Архип.

Утром старики топили древнюю, покосившуюся и занесённую чуть не до половины баньку. Профессор в валенках и старом Архиповом полушубке с заплатой под мышкой расчищал деревянной лопатой дорожку по огороду, а Селезнёв возил на обледенелых санках воду, дрова и топил. Топилась баня по-чёрному, дымилась всей крышей, глаза у Архипа покраснели и заслезились.

— Лучше этой бани, — говорил он севшим от дыма голосом, — в деревне нет. Ты не гляди, что она чёрная, она из липы, а годнее липы лесу для бани не найдёшь. Сейчас от большого-то богатства все норовят дубовую сделать, а дуб угар даёт. А один додумался, украл где-то машину шпал железнодорожных и баню из них смастерил. Стал мыться — чуть жив остался, одурел от смраду. А у меня воздух лёгкий, пар сухой, вот как мыться будешь, увидишь.

— Чудесно, чудесно, — повторял Бердяев, широко окидывая взглядом окрестности. Спокойные изгибы за-

снежной земли, мутная синева далёкого леса, низкое серое небо, неслышно роняющее редкие снежинки, и эта севшая на один угол баня, косо и дремуче дымящаяся, волновали сладко и мучительно. — Чудесно, чудесно...

Когда баня протопилась, Архип выкинул в снег две непрогоревшие головёшки, загрёб золотистую грудку крупных звонких углей, над которыми лилось и дрожало марево, потом плотно закрыл дверь.

— Пусть немного отдохнёт, потомится.

Мыться пошли к вечеру. Снежок стал гуще, крупнее, но был всё так же сух, лёгок и беспокойно вился, прядал в воздухе. За рекой катались с горы ребятишки и их слитный радостный гомон долетал, смягчённый расстоянием.

Пол в предбаннике был толсто устлан свежей соломой. Бердяев и Архип не спеша раздевались, беседовали.

— Ты вот мне скажи, — говорил Архип, — почему врачи умирают? Раз уж ты — врач, ты должен болезнь в себе при самом начале затушить, все средства у тебя в руках. Я вот недавно читал в газетке — хирург безвременно умер, как понимать?

— К сожалению, болезни и нас не минуют, — разводил худыми руками профессор. — Врач — человек, а человек смертен. Это откуда у тебя? — с профессиональным любопытством спросил он, увидев на плече Архипа синий звездообразный шрам.

— С этой войны, осколком поранило.

— Никуда не годно зашили.

— Да уж там не до красоты, душу от смерти отведут, и ладно. Врач-то по целым суткам от стола не отходит.

— Знаю, брат, знаю, испытал... нда-с.

Баня встретила их жгучим сухим дыханием. Прокопчённые брёвна тихо потрескивали от жара.

— Милости просим, — сказал Архип и, ловко поворачиваясь, стал хозяйничать. Вытащил из деревянного корытца распаренный веник, а березовый настой слил в ковш. — Этим поддавать будем.

— А не достаточно ли температуры? — опасливо спросил профессор. — Режим, по-моему, вполне нормальный.

— Какая это температура! — возразил Архип и шваркнул из ковша на каменку. Каменка словно бы вздрогнула

и отозвалась глухим мягким громом, зароптала. Берёзовый запах разлился по бане.

— Ой-ёй-ёй! — тонко закричал профессор и с ловкостью «почти военного человека» присел, закрывая уши руками.

— Отвы-ы-ы-к! — пел Архип, залезая на полоч. — Не тер-пи-и-ишь!

— Горячо-с, горячо-с, — бормотал Бердяев, скорчившись на полу.

Парился Архип истово: сперва меленько потряс над собой веником, кряхтя и вскрикивая от удовольствия, потом начал хлестаться всё сильнее, сильнее, резво крутился с боку набок и кричал что-то странное:

— Вот она и заиграла!.. Вот она и заиграла...

Профессор пообвыкся, сел на лавку и, глядя на Архипа, только головой качал и похохатывал.

Кончив париться, Селезнёв почти свалился вниз и встал на четвереньки.

— Ломай, ломай мне крыльцу-то!

Тут уж мастаком оказался профессор. Он моментально сел верхом на Архипа, завернул ему руку и, подсунув пальцы под край лопатки, стал отдирать.

— О-о-о! — выл Архип. — О-о! Сильнее дери! О-о-о! Знатный ты костоправ, — говорил он, поднимаясь с пола, — не хуже Авдотьи-покойницы.

— Но-но! — осерчал профессор. — Я на сердце операции делаю, а тут «крыльца»! Неплохой метод, между прочим.

Париться Бердяев долго не соглашался, только когда Архип пообещал поддать «самую малость», залез на полоч.

Потом они отдыхали в предбаннике, сидя на соломе. От раскрасневшихся тел стариков курился парок, каждая клетка цепенела в истоме.

— А знаешь, Архип, — проговорил Бердяев, — я иногда тоже чувствую в движениях рук некую стеснённость. Может быть, и мне сделать процедуру?

— А за чём же дело? Лезь на полоч, попарься, а потом я живым манером. Наново родишься.

Узкой тропинкой шли к дому. Бердяев чувствовал себя молодым, обновлённым. «Как хорошо, свежо на

душе, — думалось ему. — Мне надо было давно сюда приехать. Удивительное дело: всю жизнь, оказывается, лежала в сердце любовь к этой вот простой и, может быть, невзрачной на вид земле, которая вспоила тебя соками, дала улететь, но вот манит, зовёт. Остались в ней какие-то твои корни».

С полотенцами на шее пили чай из старинного помятого самовара, вытирали с лиц крупный пот.

— Ну как, хороша банька? — спрашивал Архип. Профессор отрадно шмыгал расслабевшим от чая носом и отвечал:

— Хороша...

Хорошая фамилия

Неправдоподобно большой щит стылого зимнего солнца величаво пропадал за смутной полосой далёкого леса. Седоватое от мороза пространство начинало наливать дремотной синевой, цепенеть. Тихая улица районного городка, по которой я шёл к гостинице, обрела спокойную отрешённость.

Несколько раз обгоняли меня спешившие в гостиницу командировочные люди, которые узнаются не столько по большим портфелям, сколько по особому выражению лиц, на которых сразу читаются и сложность стоящей перед ними служебной задачи, и некая бывалость: мол, куда меня ни закинь, нигде не пропаду.

У гостиничного крыльца стоял низкорослый мужчина с заиндевелыми усами и, постукивая валенком о валенок, бодро покрикивал:

— Местов нет! Нет местов! Шаром покати!.. Новый год подходит, — радостно сообщил он мне. — Народ валом валит — кто в город, кто из города. Ни единого места не осталось.

— Ну а как же теперь быть? — спросил я, озадаченный его хорошим настроением. — Ночевать-то где?

Голос мужика стал ещё радостней.

— Хе! Или в чистом поле? Посреди города пропадём? Это ведь теперь народ избаловался: гостиницу ему дай, бельё глаженое, да ещё кричит: «Зачем у вас домино нету?». А раньше где прохожие ночевали? Идёшь ли, едешь, стемнело — ты в любое окошко стук! Пустите, не стесним. Вся Русь так ездила. А нынче глядишь на иного: мест нет — у него лицо посереет, как, мол, ночь проведу. Эка забота. Вот сейчас супруга моя подойдёт — она в буфете за яблоками встала, — мы с ней определимся лучше быть не надо. В любой дом смелой рукой постучу.

Я лишь потом понял, что у этого человека был особенный дар — заражать настроением. Не только слова, а и заиндевелившие усы, брови, яблочно-крепкие от мороза щёки, подёрнутые весёлой слёзкой глаза настраивали на приподнято-уверенный лад. И мне тоже захотелось ночевать не в гостинице, а именно в каком-нибудь доме, пить чай с хозяевами под длинные и неторопливые разговоры, помешивать в печке догорающие угли, смотреть по телевизору фигурное катание, а потом спать на диване под бесстрастное постукивание будильника.

Но странное дело: чем дальше уходил я от гостиницы, прикидывая, в какой бы дом постучать, тем всё слабел во мне внушённый мужиком бодрый и радостный дух.

Уже почти совсем смерклось. Над лесом едва угадывался мутно-красный мазок истлевавшей зари, остренько заблестели звёзды и во всех окнах загорелись огни.

Легко сказать — стучи в любой дом. А если там приехали гости? Или болен ребёнок? Или хозяева в размолвке? Мало ли что может быть! Да и вообще люди готовятся к празднику, в домах видны наряженные ёлки, уместны ли тут всякие путешественники?

Несколько раз подходил я к освещённым окнам и, постояв, шёл дальше. Настроение моё падало и наконец упало до такой степени, что я обозлился сам на себя. Ударят меня, что ли, в самом деле?

У обледенелой колонки наполняла вёдра женщина.

— Матушка, у кого тут можно на ночлег попроситься?

Она некоторое время молча смотрела на меня, потом проговорила задумчиво:

— Да ведь и к нам можно бы, но только хозяина-то у меня нынче нет — неловко. А вот, гляди-ка, дом-то с тополью стоит. Там Соловьёвы живут, старик со старухой. У них хорошо будет.

С преувеличенной решительностью я зашагал к дому Соловьёвых. На мой стук в обшитую мешковиной дверь послышался басовитый женский голос:

— Взойдите, не заперто...

В чистой просторной задней половине лежал на диване лысый босоногий старик, подняв вверх худые коленки. За столом сидела грузная старуха в очках, с мясистым

грубым лицом, с тёмной подпушью внизу щёк. Это была одна из тех женщин, которые на первый взгляд кажутся неуклюжими и малоподвижными. На самом же деле с лёгкостью могут вздёрнуть на плечо пятипудовый мешок, бестрепетно растолкать задравшихся мужиков, вытолкнуть плечом повозку из грязи.

Она смотрела на меня испытующе и строго, а когда я попросился на ночлег, вдруг почти закричала:

— А что же мы, не люди, что ли? Как человека не пустить! Это у кого совести нет, тот не пустит. А мы околевать на морозе не дадим.

— Что говорить, — вставил старик, спуская с дивана мосластые ноги. — Вешай одежонку-то да садись, грейся. Ишь, в ботиночках, форс какой!

Несколько смущённый властным напором старухи, я разделся и подсел к столу, не зная, с чего начать разговор.

— Дети-то есть? — неожиданно спросила бабка. Я ответил, что холостой.

— Будут дети — за дочерей держись. У них сердце мягше. А сыновья-то тебя утешут, дожидайся. Бросют да уедут и письма не пришлют. Открытку к празднику не кинут, не токо что.

— Что говорить, — опять вставил дед. — У нас три дочери замужем да сын, как ты вот, холостой. От девок-то вчера ещё письма пришли, с Новым, значит, годом почествовали. А от того бездомовца вот этакенькой бумажечки нет.

— Ты заплачь ещё! — строго сказала ему старуха. — Ишь, разжалился. Не пишет и не надо. Такой, значит, нам с тобой почёт.

Она надвинула очки и, шевеля губами, стала читать газету. Я спросил, где их сын живёт.

— В Мурманске, на рыбных кораблях.

— Ну, так он, может, в море сейчас.

— А то мы газет не читаем! — сердито забасила старуха. — Вот пишут: годовой план область перевыполнила. Теперь, чай, загуляли. К чему им родители?

Я начал утешать стариков. Сказал, что письмо, видно, в пути, что почта теперь, под праздник, перегружена. Но они неожиданно взяли меня с двух сторон в оборот.

— Перегружена? — кричал старик. — А ты взял бы да

пораньше написал. Девкам не перегружена, а тебе перегружена. Ишь, какие вы умники!

— Телеграмму бы стукнул, — вступила хозяйка. — Не велика хитрость. Ты тоже, поди, матери-то ни слова не послал? Ну погодите! Придёт час — и вы состаритесь. И вам перегружена будет.

Уши мои горели. Старики спрашивали с меня за сына, а я почему-то чувствовал себя в ответе, и было мне совестно. Но что я мог сказать им?

Дед опять лёг на диван, старуха углубилась в газету, а я вышел на крыльцо покурить.

Набирала силу погожая зимняя ночь. Калёные морозом звёзды виделись чётко и разборчиво. Еле слышно были провода на столбах. С тихим звоном просыпался иней с тополя.

Виляя по тропинке, бежал к дому мальчишка. Увидев меня, он напугался и ойкнул. Потом, освоившись, сказал, поправляя шапку:

— Они ждут там.

— Кого? — спросил я со смутным и непонятным волнением.

— Ну, письма-то от Сергея. Меня мать на почту гоняла вон аж на какой конец!

Он прошмыгнул к двери, а я, хоть и зазяб, вытащил ещё сигарету и остался на крыльце, чтобы не мешать старикам. На душе у меня стало легко и бодрый дух, внушённый мне мужиком у гостиницы, опять овладел мной.

Когда я вошёл, дед с дивана, мигнув, кивнул мне на старуху. Письмо они уже прочитали и бабка теперь держала перед глазами конверт.

— Ну, что ты конверт-то читаешь, али адреса не знаешь? — насмешливо спросил он жену. Та вытерла под очками глаза и сказала другим, осевшим от слёз, очень женским голосом:

— Да так. Фамилию нашу читаю. Фамилья у нас хорошая — Соловьёвы. — Но тут же, словно спохватившись, в прежней повелительной манере произнесла: — Ну, теперь ужинать давайте. Для праздника-то я уж налью по маленькой.

Мягко, словно кот с печки, прыгнул с дивана дед.

Синее небо после дождя

В то апрельское утро...

Бабка Лукерья не ложилась до полуночи, ждала, когда придёт новый постоялец, а он всё не шёл и не шёл. Старуха совсем было собралась гасить лампу, как в сенях послышались грузные шаги Прохорова. Он вошёл с нахмуренным и сердитым лицом, долго и сумрачно стаскивал сапоги у порога, на вопрос Лукерьи, выбрали его или не выбрали председателем, ответил неохотно:

— Выбрали...

— А я гляжу, ты вроде тверёзый — ну, значит, не выбрали, думаю. У нас как нового выберут, обмывают дни два...

Прохоров, ничего не ответив, сел на испуганно охнувшую под ним табуретку, упёрся руками в колени и стал пристально глядеть на огонь. Его сгорбленная, с поднятыми плечами фигура кидала на стену большую диковатую тень.

— А ты не шибко тужи, — сказала старуха, — чай, не навек это. Бог даст и снимут. Поешь молочка вот: вечерошник.

Прохоров велел разбудить себя часов в пять, но проснулся раньше, вышел на маленькое покосившееся крыльцо с плоским синим камнем вместо нижней ступеньки и, прислонившись к косяку, долго дышал сладким туманом апрельского утра. Он с каким-то отчуждением смотрел на нелепо раскиданную по оврагу деревню, на ободранный и пегий, но всё ещё величавый остов церкви, на дымящуюся светлую воду маленькой речки под горой, по правому берегу которой нежно начинали зеленеть ничем не огороженные и, как видно, запущенные вишнёвые сады.

Прохоров всё старался и не мог пока свыкнуться с мыслью, что в этой вот незнакомой, чужой деревне будет он жить и работать председателем. Когда вчера на собра-

нии секретарь райкома Лопатин поставил вопрос о Прохорове на голосование, кто-то в зале насмешливо сказал:

— Подымай руки, ребята! Чай, хуже не будет.

Смутить Прохорова было нелегко. Цену он себе знал. До того как «кинули» в Грачёвку, десять лет работал председателем в другом районе. Но всё равно как-то неуютно стало ему от этой выжидательной насмешливости. И сейчас, глядя на равнодушную к нему деревенскую улицу, мрачновато думал Прохоров о том, как же тяжела эта окаянная должность и как здорово было бы поработать хоть с годик ночным сторожем, чтобы отдежурить ночь, прийти домой на солнечном восходе, хлебать щи и ни о чём не думать.

— Ну, ладно, — сказал сам себе Прохоров, — гляди веселее.

Он спрыгнул с крыльца и зашагал по ломающейся вдоль берега улице. До мая оставалось немного. Скучные серые косогоры над деревней уже начинали застенчиво зеленеть, в воздухе стоял упоительный, чистый запах не совсем ещё развернувшихся тополиных листьев.

Со дворов выгоняли скотину. На разные голоса сипло ревели истосковавшиеся за зиму коровы, дурашливым скоком прыгали ягнята. Склонив голову к земле и распустив стеклянные нити слюней, утробно сипел бык.

Цепляясь за сухие и ломкие прутья бурьяна, Прохоров спустился по оползающей глиняной круче на низкий заливной берег и пошёл вдоль речки, заросшей тальником, на котором висели серые клочья речной травы — следы половодья. Другой берег, повыше, был сплошным вишнёвым садом. Прохоров подумал, какая здесь будет благодать через недельку, когда вишня зацветёт.

Выйдя за деревню, он остановился возле длинного полураскрытого строения с голыми рёбрами стропил и маленькими мутными окошечками. Из строения несло занудливое свиное нытьё.

Прохоров отворил дверь, из тёмного тоннеля свинарника в него ударил тяжёлый, настоявшийся звериный запах. Длиннорылые, по-собачьи поджарые свиньи, завидев Прохорова, заскулили ещё дружнее и тоскливее — просили жрать. Чавкая сапогами по навозной жиже,

Прохоров медленно шёл разбитым проходом. Почти физически ощутил он, как тяжёлое председательское бремя ложится ему на плечи.

Выйдя на улицу, он невольно сощурился от ударившего по глазам чистого и ясного света. Равнодушная и пустая весенняя благодать висела над сонными окрестностями. Громадный курган навоза элегически дымился. Грязное свиное рыло просунулось сквозь развалившийся угол и, хлопая белыми ресницами, долго глядело на председателя коричневыми скорбными глазами.

«До ручки довели колхоз, — зло подумал Прохоров, — хозяева!»

Повязанная вылинявшим зелёным платком баба везла от речки на сивой вислобрюхой лошади бочку с водой.

— Н-но, колода! — кричала она, зло дергая вожжами. Вода в бочке глухо стреляла и высоко плескалась крупными белёсыми брызгами. Подъехав к коровнику, баба недружелюбно взглянула на стоящего, расставив ноги, Прохорова и принялась сливать воду в большую деревянную бочку.

— Здравствуйте, — сказал Прохоров. — Хозяйка тут, что ли?

— А тебе чего?

— Как чего? Я председатель ваш новый, Прохоров.

Не переставая сливать воду, она сердито буркнула:

— Свинарка я...

— Чего же у тебя, тётка, свиньи-то орут?

— А хоть бы и передохли все, — вызывающе сказала баба. — Я бы перекрестилась!

— Это почему же?

Баба ничего не ответила, громко и озлобленно бухала ведром в пустеющую бочку. Потом повернула к Прохорову худое коричневое лицо (от жёлтых ключиц углом расходились у неё на шее две жироватые складки), закричала с надрывом:

— А с чего мне ваших свиней жалеть? Я вот тут восьмой год в дерьме вожусь — за какой шиш? Вчера девчонки привязались: купи да купи им сандалии. Май на дворе, а они в резиновых сапогах в школу ходят. На что я куплю? Вчера и побила их обеих. Сама всю ночь проревела.

Баба сморщилась, концом платка стала собирать со щёк слёзы.

— Ты вот первым делом свиней глядеть пришёл. А ты сперва поглядел бы, как я живу. Вон, видишь мою ма-занку? — Она указала рукой на низенький завалившийся домишко.

Прохоров молча слушал бабий крик. Лицо у него стало мрачным и каменным. Чёрные с подпалиной брови козырьком низко опустились на серые жестковато-холодные глаза.

— Зовут как?

— Краюхина Серафима, — ответила свинарка. — Восьмой год тут работаю. Почему не брошу — сама не знаю. Они вот орут, а мне их жалко. Характер проклятый!

Грохая и скребя ведром, она принялась вычерпывать из бочки остатки воды. Прохоров смотрел на её сутулую, напрягающуюся от усилий спину. Пальцы председателя кусочек за кусочком ломали сухой таловый прут.

— Серафима, — сказал он наконец, — ты нынче приди в правление в семь часов.

— Приду, — сказала она, не оборачиваясь. — Думаете, я вашей ругани боюсь?

— Мне тебя ругать не за что. Не для того зову. О доме твоём поговорим. Может быть, что-нибудь придумаем всем миром.

Серафима бросила на Прохорова быстрый взгляд, всхлипнула и ничего не сказала.

До шести часов — в шесть условились принимать дела от старого председателя — Прохоров прошёл вокруг всей деревни, посмотрел коровник, курятник, поднялся на лысые просыхающие бугры, от которых начинали тянуться лиловеющие пашни колхозных полей.

По пути ему попалось маленькое деревенское кладбище — горбатенькие холмики заросших могил, сизые с зелёными лишайниками кресты, среди которых выделялся один прямо и крепко стоящий, щемяще-новый крест. Прохоров перепрыгнул через неглубокий ров с грязным сугробиком снега на дне, пошёл поперёк кладбища, читая древние, затёртые временем надписи. На одном кресте прочёл: «Под сим крестом покоится Раб божий Спирькин

Алексей Анисимыч. Нарождён 10.XII.1903 г. Р. Х. Помир 7.V.1931 г.» На средней крестовине было выбито: «Погиб от обреза за советскую власть».

Долго стоял Прохоров у этой могилы. Начинала она зеленеть и светиться желтенькими наивными глазками куриной слепоты.

— Погоди, Алексей Анисимыч, — проговорил Прохоров вслух. — Как разбогатеет, памятник тебе поставим со звездой. Дай нам срок.

Надел шапку и крупно зашагал к деревне. У околицы встретился ему старик в бушлате с петлицами ремесленного училища, ведущий на верёвке худую коричневую козу.

— Здорово, дедушка!

— Доброго здоровьица.

— Как живёте?

— Гы-ы! Живём — колотимся, полежим — перворотимся. Козу вот пасу на привязи, убегает, дьявол.

— Большая семья-то?

— С козой сам-третий буду. Старуха ещё есть.

— А кормитесь чем, работаете?

— Какой из меня работник. Нет. Грамотой промышляю. Книжки читаю старушкам божественные, отпеваю, если случится.

— Кого же отпеваете?

— На кого позовут. Ты умри — и тебя отпою.

— Ну, это воздержись пока, — криво усмехнулся Прохоров. — И много тебе платят?

— Пирог или сайку дадут, из одёжи что-нибудь от покойника — вот и зарплата моя. Айда в подручные!

— Да-а, прыткий ты, видать, дед, — сказал Прохоров. — Ну а ремесло какое знаешь? Чекушку, допустим, можешь вытесать?

— Я бы, милый, вытесал, да мне её втыкать некуда, — сказал старик, глядя на Прохорова карими нагловатыми глазами. — Ты что насупился, али я взаймы прошу? Не нравятся мои разговоры, так прощай. На меня много кто косится, а пошто, спросить? Живу я тихо, кормлюсь своим умом. Разве запрещено это? Я ведь Советскую власть тоже люблю. Жду вот, когда коммунизм откроют. Газет-

ки читаю. Жизнь моя на виду — светла и удобопонятна. Любого жителя спроси, украл ли, мол, старик Калиткин из колхоза хоть малую щепоть? Я колхозу сам помогаю. Вчера у них какое-то собрание было, а в лампах керосину нет. Куда пойти? К Калиткину. Я дал бессловесно. И не единожды так было. Колхоз мне теперь восемь сот должен. Вот каков я человек есть.

Калиткин дёрнул верёвку и повёл козу дальше, шаркая по серой земле бутра короткими кривыми ногами, обутыми в старые подвязанные верёвочками калоши.

Прохоров долго смотрел ему вслед. Опять почти физически ощутил он бремя своей должности, тяжесть ответственности за всё — и за домик Серафимы, и за осыпавшуюся могилу Алексея Анисимыча, и даже за этого вот развращённого бездельем Калиткина, безмятежно живущего с человеческого горя.

Десять лет спустя

Первая весенняя гроза застала Прохорова в дороге. Он ехал в тарантасе и одет был по-летнему: в парусиновом пиджаке и новой капроновой шляпе, очень не шедшей к его загорелому крестьянскому лицу. С утра пекло и томило. Конюх, закладывавший Прохорову лошадь, сказал с уверенностью:

— Жди дождя! На машине теперь не езда.

— Прогноз вроде бы не обещает сегодня, — сказал Прохоров, тяжело сядясь в тарантас и разбирая вожжи. Конюх пырнул себя большим пальцем в поясницу и пояснил:

— Вот у меня прогноз...

И действительно: не успел председатель проехать и полпути до второй бригады, как за смутными очертаниями Жигулей тяжело и грозно засинела стеной вставшая туча. Какая-то настороженность появилась в воздухе, звучнее и чётче стал отпечатываться в тишине перестук лошадиных копыт.

Ударивший дождь был тёплым и благостным. Парусиновый пиджак Прохорова сперва запестрел тёмными отметинами, потом почернел, стал жёстким. Лошадь сделалась глянцевою, тонкая её шея блестела, как тюлений ласт.

— Эх, для посевов-то благодать! — с радостным кряхтением бормотал Прохоров, подставляя под упругие дождевые струи лицо.

Ему захотелось поскорее увидеть кого-нибудь, поговорить о том, как ко времени разразился дождик. Он съехал на заросшую мелкой травой обочину, тронул лошадь вожжой и она легко понесла сверкающий мокрыми колёсами тарантас.

Когда Прохоров подъезжал ко второй бригаде, дождь перестал. Небо расчистилось и освежённый мир заиграл солнечным огнём, защёлкал птицами, закурился тёплыми испарениями. Прохоров не стал заезжать в деревню, а поехал вдоль поля по пологому косогору туда, где на ровном возвышении виднелся ряд новых домов под шиферными крышами и высилось большое двухэтажное здание с широкими ясными окнами.

Городок этот был слабостью Прохорова, мечтой, которую он стал вынашивать с того памятного апрельского утра — первого утра своей председательской деятельности. Ложась спать в низкой хатёнке бабки Лукерьи, подолгу ворочал в голове неотступно преследующие его картины будущего колхозного житья. Иногда ругал себя: до мечтаний ли? Колхоз еле сводил концы с концами, тяжёлые повседневные заботы, казалось, не давали возможности разогнуть голову. А вот поди ж ты — мечталось! Воображение рисовало новое нарядное село с зелёными садами и мощёными дорогами, широкими витринами магазина, с кирпичным клубом, с тихим и прохладным залом библиотеки, с разноголосым щебетом пацанов, копающихся в песке во дворе детского сада.

Десять лет минуло с тех пор. Умерла бабка Лукерья. Голову Прохорова тронула с висков седина, морщинами пали на лицо тяжкие заботы о хозяйстве, и вот в позапрошлом году дала росток его заветная мечта — заложили городок. Он был средоточием успехов колхоза, свидетельством его силы и залогом будущего.

Прошлой весной первые двенадцать семей переселились в городок из старой деревни, нелепо раскиданной по оврагу. В самой крайней избе крепкая чернявая девка, ловко мызгая тряпкой по доскам, мыла крыльцо.

Широкий подол сарафана легко летал вокруг её белых забрызганных ног. Прохоров узнал дочь Серафимы Краюхиной — Тоньку. Давно ли, кажется, девчонкой бегала, а теперь вот замужем — сама хозяйка.

— Здравствуй, Антонина!

Та стремительно разогнулась, бросила тряпку в ведро, отвела упавшие на глаза волосы.

— Ой, какой мокрый, Андрей Сергеич!

— Ничего, — проговорил председатель. — Не сахарный. Этот дождик в самую точку попал. Это, Антонина, можно сказать, хлеб. Ну, как вы тут, на новом месте?

— Нам с Николаем нравится. Солнце в доме круглый день не заходит.

— Учёба как?

— Помаленьку. Коле осталось ещё одну контрольную написать. Целыми ночами сидит. А я отослала все. На сессию скоро вызовут.

— Ладно, вызов придёт — отпустим. Не вы одни. Тридцать заочников в колхозе, — проговорил Прохоров, трогая лошадь. — У Серафимы Ивановны как здоровье?

— Ничего! — закричала уже вслед Антонина. — Только давление большое... А так ничего!

Городок состоял пока из одной улицы. Но Прохоров мысленно представлял себе, как её пересечёт другая, как они образуют площадь, которая будет потом заасфальтирована и обсажена деревьями. Он ехал шагом по мокрой и тихой улице, в конце которой стоял сочный и крепкий стук топоров. Там работали плотники. Топоры взлетали над их головами и сверкали на солнце. Бригадир Аркадий Иванович стоял в проёме окна и осторожными ударами загонял в гнездо раму. Увидев Прохорова, он спрыгнул на землю, бросил топор и подошёл к тарантасу.

Председатель поговорил с бригадиром, осмотрел новостройку и вдруг сказал с завистью:

— Эх, и дело у вас весёлое! Дай-ка мне, братец, топор свой — маленько потяпаю.

Бригадир с улыбкой подал Прохорову топор, тот, хмурясь и стыдясь своей слабости, повертел в руках топориче, кашлянул.

— Ну, показывай, что рубить...

Встал над бревном, снял влажный пиджак, сдвинул на затылок капроновую шляпу, пошире расставил ноги, обутые в яловые сапоги, и, выдохнув — га-хх! — ударил с расчётливой силой. Острый клин топора сочно въелся в дерево. Прохоров чуть повернул топориче и с треском оторвал от дерева крупную белую щепу. Вторую, потоньше, он не стал отрывать совсем, только отвернул её, чтобы не мешала. Затем прижал к ней третью, четвёртую и, когда конец бревна как бы закудрявился, он взмахнул сильнее и точным чистым ударом снёс их все сразу.

Он работал с упоением, по щекам поползли щекочащие капли пота, но Прохоров всё рубил и рубил. Разогнулся, вытер мокрое счастливое лицо рукавом и, отдавая топор бригадиру, проговорил:

— Мальчишкой мечтал плотником стать.

Сел на бревно и стал мелко обмахивать лицо шляпой.

— Андрей Сергеевич! — крикнул ему сверху молодой плотник Толька Звонков. — А какое мы имя нашему городку дадим? Вон сколько понастроили, а он ещё без названия.

— Сперва достроить надо! — Председатель, сощурился от солнца, посмотрел наверх.

— Зачем ждать-то! — опять закричал Толька. — Знаете как назовём его? Майск. Красивше не придумаешь.

— Ты, брат, погоди спешить-то! «Майск». Может, другие захотят по-иному как.

...Едва Прохоров поднялся на гору на обратном пути из городка, как увидел застрявшую на мокрой дороге серую райкомовскую «Волгу». Секретарь райкома Лопатин стоял рядом с машиной и из-под ладони глядел куда-то против солнца.

— Засели, брат! — весело закричал он, завидев Прохорова. — Ждём, когда подсохнет. Погоди, покурим немножко.

Они закурили. Лопатин, поглядывая то на Прохорова, то на сверкающую мокрыми крышами улицу городка внизу, заговорил:

— На пустом месте столько понастроили. Просто молодцы. Это что, вон там, на отшибе?

— Мастерская, — ответил Прохоров. — А в центре уни-

вермаг. На прошлой неделе открыли. Больницу застраиваем, вон, левее гляди.

Они помолчали.

— Ну а скажи честно, Андрей Сергеич, много лиха хлебнул с этой стройкой? Ведь, когда начинали, помнишь, ты из района не вылезал — то стройматериалу тебе, то техники.

— Всяко бывало, — улыбнулся Прохоров. — Но, по правде сказать, счастье я всё время испытывал. Даже тогда, когда трудно было. Сейчас-то легче стало. Доходы возросли. Люди воспрянули духом. Силу обрели. Двух лет ещё не прошло после мартовского Пленума, когда по-новому экономику планировать стали, а смотри, перемены какие. Радуется душа.

Солнце перевалило за полдень. Опять парило и на горизонте снова поднимались лиловые груды облаков. На траве ещё кое-где поблескивали дождевые капли, всё вокруг было наполнено буйной весенней силой.

— А красивое слово «Майск»? — без всякой видимой связи спросил вдруг Прохоров.

— С чего ты вдруг?

— Надо мне, — сказал Прохоров и загадочно улыбнулся.

Степная порода

Весной особенно чувствуется эта трудно передаваемая словами величественная сила степи. Совсем недавно вышедшая из-под снега земля уже набралась тепла, забродила соками, стеклянная зыбь марева колышет горизонт, гудят по полям моторы и пространства вокруг столько, света и воздуха столько, что на душе делается торжественно и величаво.

Перед встречей с Катуниным я, как всегда в таких случаях, чувствовал смутное волнение и тревогу, сумею ли я за недолгое время узнать и постичь его не только с точки зрения трудовых качеств — это ведь, в конце концов, не самая трудная часть журналистской работы, — сумею ли узнать «изнутри», с душевных глубин, чтобы потом рассказать о нём людям?

Потому с такой жадностью всматривался я в эти плавно разворачивающиеся и иной раз волшеббно меняющие перспективу — либо от положения машины, либо от освещения — пространства. Мне казалось, что степь объяснит мне в характере Михаила то, чего не покажут цифры, не расскажут строгие слова официальных документов и даже слова друзей и знакомых.

Марьевка — село большое, и найти Катуниных не просто. Не то что встречные прохожие не знают, где они живут, просто сразу трудно всё до конца растолковать. «Повернёте направо и всё улицей, улицей езжайте. Там, за колодцем, ещё спросите».

Но и дома самого Михаила застать в горячую пору сева возможности нет. Дома оказалась одна только Татьяна Макаровна, мать Михаила, живая, статная, моложе своих лет выглядевшая старуха необычайно общительно-го нрава. Начала она разговаривать, как будто мы были с ней давно знакомы.

— И-и-и, милый, разве сейчас сокола на гнезде заставишь! День-деньской в поле. При огнях только приедет. Да ты всходи в избу-то. Отдохни, водицы испей. Шутка ли — от города ехать. Дороги-то хоть теперь и гладкие, а всё равно спину заложит едучи. Мишу-то вам зачем? Для разговору? Наговоритесь ещё, день теперь — год. А так у нас не делают, чтобы гость от порога повернулся да назад. Я сейчас чайку живой рукой споровую.

Говоря всё это, она ни на минуту не переставала что-нибудь делать. Быстрыми движениями убирала не на своём месте оказавшиеся вещи (книжку, карандаши со стола, ребячью игрушку со стула), смахивала невидимую пыль, выходила в другую комнату, гремела самоваром и т.д. И при этом ни на минуту не переставала говорить своим ровным певучим голосом.

Я попросил её рассказать о сыне. Татьяна Макаровна как будто не придавала моему вопросу значения и всё говорила о том, что весна нынче выдалась холодная, но «это, милый, лучше, чем бешеная-то весна. Снег потихоньку таял, земля напилась, хлебом отдаст».

Но дальше — больше: слушая старуху, я понял, что говорит она именно о том, что мне нужно. О жизни, о судьбе, о детях.

— К родной стороне, милый человек, кипьмя прикипаешь. К нам иной раз гости приезжают, говорят, скучные у вас, Татьяна Макаровна, места — степь, косогоры, никакой природы нет. А я всё смеюсь: да за два-то дня что вы увидеть можете? Поживите тут хоть с моё, семьдесят, говорю, четыре года, тогда поглядим, что скажете. А с первого разу и вправду красоты особой нет, село большое да долгое — аж семь вёрст с конца на конец. Топаешь, топаешь, ноги загудят, досада возьмёт, что в старину всяк за себя думал. Надо ведь, так улицу растянуть, хоть трамвай пускай. Смех смехом, а ребятишек в непогодь на тракторной тележке в школу свозят — такое неудобство, право.

Но уж зато и простор какой. Улица-то шириной — чистый сотельник. Весной, как вода сбежит, цветы зацветают. А на зады выйдешь — степь-матушка как вроде в сарафане каком, горит от цвету, пар синий стоит, лиса невылинявшая логом пронырнёт, сусель свистнет, жа-

воронки захлёбываются, орла наискосок по небу несёт — батюшки, да где же лучше-то сыщешь! Я всё за Мишей замечая: он после работы иногда выйдет без всякой причины в огород, там у нас деревья растут кое-какие — это мы лесом зовём, — прислонится спиной к дереву и стоит, стоит, ноги не переступит, как вроде где-то поют далеко, а он слушает. Любит он степь. Мы ж степняки коренные. Отец мой тут родился. И у отца отец — тут. Дед с каких-то древних слухов сказывал, что первые-то люди сюда из курских и смоленских земель пришли. А я зыбко помню, как погреб однажды рыли и из земли неохватное дерево вынули. Все дивоваться ходили: откуда, мол, такое. А дед сказал: вы, мол, вот степное племя, не знаете ничего. Тут раньше леса росли.

А я себе думаю, земля от веку к веку лицо меняет, а жизнь человеческая — и подавно. На моих глазах столько всякого переменилось — за день не обскажешь.

Ко мне всё соседка ходит, молодая ещё. «Расскажи, тетка Татьяна, как это ты вдовой четверых растила. Я с одним не знаю, что делать. Вчера поймал кошку и подчистую остриг, кошка теперь же как вроде разумом помешалась».

Как воспитывала? Нет никак. Выросли они у меня, можно сказать, на работе. А работа, она всё привьёт. От неё все качества. Вот Мишу возьмите. Я — мать, неловко сыном хвалиться, а скажу: золотой характер. Никто — всё село пройди — про него дурного слова не молвит. Люди к нему по каждому пустяку идут — кому телевизор починить, кому мотоцикл или ещё какую машину. Сейчас ведь у каждого какой-нибудь прибор есть. А он по любому делу мастер. Где научился — ума не приложу, как вроде тайком в погребе. И никому у него отказа нет. Придёт с работы — устанет или намёрзнется по зимней поре, а тут просят: помоги, пожалуйста. Я говорю иной раз: не ходи, сынок, отдохни, чай, не железный. А ему самому интересно поглядеть, что случилось. Прихватит баульчик со струментом и пошёл себе.

И на работе его всегда отмечают. Вон в цикатулке сколько грамот да похвальных листков — не пересчитаешь. На съезд колхозников в Москву ездил. Депутатом

каждый раз в Совет избирают. А как его я воспитывала, сказать затрудняюсь.

Время тогда было такое — не про воспитание, а про питание думать приходилось. Он, Миша-то, отца не помнит. Ему как раз родиться, а отец умер. Одна осталась я с четверыми. Это в тридцатом-то году. Колхоз только завывался, одна в нём бедность была. Ну, думаю, Татьяна, держись! Сшибёт тебя жизнь, по миру пустит. На трудодни тогда, можно сказать, ничего не давали, а одной свой огородишко и то огоревать трудно. Так и жили. Помню, у среднего сына, Егором звали, он потом офицером сделался, погиб в войну, рубашонка вся в нитки сносилась, а новую сшить, ну, совсем не из чего. Я уж и так и сяк думала, нет никакого выхода, хоть расшибись. Что делать? Стащила я, милый человек, с постельного тюфяка наволочку да и смастерила мальчишке одежду. Он как обрадуется: «Мама, мама, какой я нарядный, побегу на улицу, всем покажу». Он радуется, а я стою, потихоньку слезу глотаю.

Старшим у меня Алёша рос. Он теперь здесь же, в Марьевке живёт. Бригадиром работает, в одной с Мишей бригаде. Ему тогда лет тринадцать было, а уж он вроде как за главного стал в доме, за мужика. На работу ходил наравне со взрослыми и по дому помогал. На него глядя и меньшие тянулись. С ранних лет матери они сочувствовать научились. Помню, настала пора кизяки делать — мы ведь раньше в наших степных местах сплошь кизяком топились, — говорю: как-то мы с тобой, Алёша, управимся с такой работой — кучу раскидать, воды навозить, мять да резать. Только-то и речи было. А вечером с работы возвращаюсь, мне соседка говорит: «Погляди-ка, Татьяна, что твой помощник делает». — «Что за помощник?» — «А вот глянь...»

Смотрю, на кизячной куче стоит мой Мишутка и вилами навоз ковыряет. А сам крошечный, ручонки чуть вилы держат. Закусил губу и аж трясётся весь от натуги. «Батюшки, да кто тебя надоразумил?» — «Никто. Чать, я сам понимать должен, что тяжело нам», — важно этак говорит.

А как побольше подрос, так от старшего брата не отставал: тот на работу — и этот. Двенадцати лет ему уж

двуконную повозку доверили. Я всё боялась, как бы его лошади не убили. А он успокаивает: «Они меня любят». Очень к труду привержен. Дом вот этот, двор, баню, амбар — всё один, можно сказать, своими руками построил, никого не приглашал.

А уж когда колхозных дел коснётся — прямо горит весь. Прошлым летом с горохом нехорошо получилось. Запоздали с ним, под дождь попал, лёг на землю, перепутался — никакая машина не берёт. Вроде бы и не Мишина совсем забота — он к гороху касательства не имел. Нет, шум поднял. Приходит домой как-то вечером, гляжу — хмурый, брови насупил. Жена Нина ему ужинать собирает, а он не раздевается, в правление, говорит, пойдё. «Зачем в правление?» — «А вот зачем», — вытащил из кармана горсть гороха, показывает. Шёл, видишь, полем, обидно стало, что добро пропадает, разгневался. Пошёл прямо к председателю. Долго они проговорили, совсем поздно вернулся. А утром на своём комбайне — он на комбайне и на тракторе сразу работает — на горох поехал. Два дня, можно сказать, с поля не уходил, всё что-то кумекал, налаживал. А потом пошло у него дело. Приспособился. Стал весь горох подчистую собирать. От него другие переняли. Так с бросового-то поля не по десять ли центнеров, он говорил, с гектара взяли.

А зимой у нас, милый, такие вьюги бывают, что и сказать нельзя. Ветру-то тут простор, он и хозяйствует, как хочет. Дома трясёт. Снег крутит — глаз не откроешь. А и откроешь, так своих собственных ног не видеть, не только следов или дороги какой. А уж свист в степи стоит, вой. В это время дома у печки сидишь, и то мороз по коже ходит, не дай бог, думаешь, если кто в чистом поле сейчас.

Вот в такую-то непогоду и поехал раз Миша на своём тракторе в Пестравку. Что-то там надо срочно взять было, ждаль, вишь, нельзя. И проехать ввиду пурги, кроме как на тракторе, не на чем. Миша и вызвался. Мы с Ниной его уговаривали отчаянно: «Куда поедешь, света не видеть, ну-ка пропадёшь!» — «Надо — говорит, — люди ждут». — «А если с дороги собьёшься, кому ты поможешь?» — «Не собьюсь, я здесь всё нацупок знаю. В случае чего, буду запоминать, как ветер дует». — «Разве не знаешь, — гово-

рю, — как в такую погоду люди пропадают? На моей памяти женщина одна к соседке выбежала сходить за дрожжами. Через два дня нашли на краю села — заплуталась, замерзла. На трёх шагах заплуталась, а тут чуть не тридцать вёрст».

Он в окошко вприщур глянул: «Стихает, зря вы страху на себя напускаете. Ехать надо».

Вышел из избы, трактор заревел под окнами, да и как в яму провалился. Мы сидим, будто водой окаченные, только сердце — ёк-ёк! Время уж много проходит, пора вернуться, а его нет. Ветер всё пуще, пуще. Гляжу, на Нине лица нет, у меня самой руки-ноги леденеют. Слышим, на крыльце кто-то — топ-топ. Кинулись обе в сени, глядим — сосед идёт. «Не вернулся Михаил?» — «То-то и беда, что не вернулся».

Малость спустя Алёша прибежал. Так, человек за человеком, полна изба собралась. Я тогда и подумала, как его на селе любят. Мужики всё порываются сесть на трактор да в поиск ехать. Алёша бегал в телефон звонить. Сказали, что был в Пестравке, да уехал, тоже, говорят, не пускали, да он не послушался. Ночь настала, Миши всё нет. Мы — в слёзы. Нет-то-нет в сениях щеколда брякнула, все как от электричества вздрогнули. Верить боимся. Шаги в сениях, дверь отворяется и он, как снежный ком, входит. Губы от холода свело, чуть выговаривает. Так и есть, оказалось, с пути сбился. Ездил, ездил по степи, и к ветру приноравливался, и всяко — кругом мгла одна. Потом глядит, вроде в какое-то дерево чуть не упёрся. Вылез, подошёл — ба, да это ведь наш огород! За пряслину рукой зацепился да так вдоль неё до избы и добрался.

У него, прямо сказать, никакое дело из рук не вырвется. А уж посмотрели бы вы, как он пашет. Я иной раз и то соберусь, выйду на поле и любуюсь. Борозда за его трактором, как на картинке — прямая, чёрная. Землёй, нашим степным чернозёмом пахнет. У нас ведь чернозёмы богатые, чуть не в аршин глубиной. Стою, гляжу, старое время вспоминаю, когда лошадёнками пахали, да и думаю: наконец-то матушка степь своей настоящей поры дождалась. Такие машины пришли, такие люди. Мише-то недавно грамоту дали, что он есть во всём Пестравском

районе самый лучший пахарь. Мне, матери, гордость большая. Инда всплакнула с радости.

Молодёжь, как на трактор приходит, все норовят к нему в подсменщики заступить, в ученики. Он никогда не отказывает, возится с ними. Человек уж десять, поди, у него выучились. Хоть Витьку Чигарёва взять или Сашку Ксенофонтова, которые теперь самостоятельно работают, — много всех-то.

Недавно в партию его принимали. Волновался он сильно. Притихший ходил, задумчивый. Всё газеты читал, книжки, какие Ленин написал. Перед собранием брился чуть не целый час. Да и мы-то все переживали, хоть я про себя думала, кого же в партию принимать, как не таких вот людей, трудового крестьянского корня, которые все силы, всю жизнь за Советскую власть кладут?

Когда съезд партийный начался, Миша всё радио слушал, в телевизор смотрел, газеты ждал. Почта пришла, он всех нас, всю семью собрал, говорит, давайте читать про будущую нашу жизнь. Читает он, я смотрю на него и опять всю долгую крестьянскую свою судьбу вспоминаю и думаю, сколько же всего за эти годы переменилось, сколько хорошего пришло, как у людей в душах светлее стало. А хорошему этому конца не видеть.

Вот и опять рассуждаю: как я своих детей воспитала. Да разве одна я их воспитывала? Сама жизнь наша их воспитала.

Вот, смотри, пострелёныш-то, меньшей Мишин, по полу бегаёт. Ещё говорить недавно научился, а спросишь, где будешь работать, когда вырастешь, бровями дёрнет: «На папином тракторе». — «А может, ещё где?» Он аж глазёнками стрельнёт: «Сказал же — на тракторе...»

А кто его этому научил? Сам всё впитывает.

Крестьянское гнездо

Март. С утра морозно, а к обеду ослепительным блеском горят снежные пространства, неумолчно кричат облепившие крышу воробьи и начинается радостное чмокание капель у завалины.

— В избу бы не входил, — говорит мне старик Плетнёв, — так бы и жил на улице. Ну-ка, сколько там минут набежало?

Он бережно отрывает с настенного численника листок и, отдалив от глаз, долго всматривается в неясное мерцание букв.

— Вот, — говорит он с некоторой торжественностью, — сколько лет ни живи, а прибавленью дня всегда заново радуешься. Всякая радость человеку приедается, а эта — никогда. Какой тут закон, а?

Он с минуту внимательно смотрит из-под сивых бровей свежими голубыми глазами.

— Закон такой, парень, что люди своё происхождение из земли ведут. Весна приходит — земля радуется, и мы с тобой — тоже. Как земля, так и мы.

Андрей Егорыч при всей своей молчаливости и солидной размеренности в поведении склонен к философии. У него не совсем ещё седая борода, строгое коричневое лицо и каким-то образом молодящая его лысина. Он, должно быть, принадлежит к тому типу стариков, которые были когда-то ходатаями по мирским делам, главными авторитетами на сходках и вообще представляли основную мыслительную силу деревни. Ум у него цепок и обладает характерной крестьянской здравостью, которая ни с какими науками не приходит, а даётся человеку от природы, как и талант.

Один живёт Андрей Егорыч. Ещё три года назад оба сына поднялись и съехали на центральную колхозную усадьбу в Созоновку.

— Я не держал, — говорит Плетнёв. — Зачем держать! Они останутся — другие всё равно уедут. Жизни я этим не поверну. Сейчас, парень, по всей державе переселение идёт. Малые селения к большим прибиваются. У нас тут, в Заречном, тридцать дворов было, когда-то отдельный колхоз считался — по теперешним временам сказать смешно, а всё же колхоз. А как укрупнили, стали потихоньку жители в Созоновку перетекать. Там и электричество, и водопровод, и всякое другое. Без этого нынешний человек жить не может. Вот и пошли из Заречного двор за двором, как старые зубы, вываливаться. Пять жителей осталось.

Мне жаль, что посёлок Заречный исчезает с лица земли. Местоположение его по сравнению с раскиданной по голому косогору Созоновкой просто нельзя сравнить. Здесь — лес, прекрасные заливные луга, речка прямо под окошками. Летом иногда даже сквозь сон слышишь, как гулко ударит в омуте рыба и волны долго потом торопливо целуют заросшие ивняком берега. Целый табор городских людей приезжает сюда в выходные дни для отдыха. А коренные жители уезжают, как будто самим им не надо ни речки, ни запахов лугов, ни живительной тени леса.

Вечером мы подолгу разговариваем об этом с Андреем Егорычем. Старик топит голландку, подкидывает в огненное жерло поленья и, прикрыв дверцу, слушает, как гудит и хлопает пламя — тяга славная! Висячая десятилинейная лампа с ущербным стеклом бросает на стол лимонно-жёлтое пятно света.

— Они зовут меня, — неторопливо говорит Плетнёв. — Оба зовут неотступно, а я упорствую. Со молодых ногтей до седых волос тут прожил, пустил корни — не выдерешь. Пока ещё в силе-возможности — пенсию тридцать шесть рублей платят, к ней огородишко сажу, трёх овец в зиму оставляю. Одному хватит. Здоровье вот поколебнулось: иной раз во рту сохнет и голова болит. У меня, парень, давление в крови признают.

На лице старика играют красные блики огня, лысина его блестит костяным блеском. Он сидит прямо на полу и курит сигарку.

— А ещё потому я никуда не поеду, что не могу допустить, чтобы посёлок на нет сошёл. Пусть хоть на мне

одном, а держится. И подумать не могу, что здесь голое место станет. Ты вот говоришь — лес тут, речка. Оно так. Да только меня не это одно держит. Здесь, парень, каждый аршин земли потом окроплён да кровью полит. Вся история перед моими глазами прошла.

Сколько товарищей моих тут жизни положили, здоровье потеряли, пока до сего дня дошли. Разве всё это пропасть должно? Не дам пропасть! Я ещё летом с тобой хотел посоветоваться, да как-то всё сомневался. Хочу я, видишь, всю нашу линию описать: как в Заречном революция сделалась, как колхоз сколачивался — всю бытность, в общем.

Старик с кряхтением поднялся, прошёл к висящему в простенке мутному, как застарелый лёд, зеркалу и вытащил из-за него тетрадку с корками цвета прелых опилок.

— Кой-чего записал из главного. Много ещё осталось. Всё-то не успею, парень.

Мне часто доводилось наблюдать, как люди на исходе лет берутся за перо и с невиданным упорством пишут стихи, рассказы, романы. Кроме огорчений, это им обычно ничего не приносит. Поэтому я с некоторым недоверием взялся за чтение записок Андрея Егорыча, озаглавленных им очень кратко: «История».

Писал старик крупно и неразборчиво, хотя видно было, что каждая буква требовала от него особого внимания.

«...В тыщу девятьсот девятнадцатом году, в аккурат на троицу, в нашем посёлке Заречном был самосуд. Тогда поймали за Горелым оврагом комбеда и привезли его на телеге. Мне отец не велел ходить, а я ушёл задами. Народу собралось много, а комбед сидел связанный в телеге, весь избитый. Ни глаз, ни лица у нево не было знать. Одно ухо висело книзу, ему ево Анисим Пареный чуть напрочь не отшиб кнутом, Анисим залез на телегу и закричал: вот кто, граждане, хотел нашим хлебом наестца, а потом ударил ево два раза кнутом по голове, а у нево руки были связаны, и он только головой мотал. Потом на телегу взлез Платон Торилин. Он сказал, что комбед с указом пойманный, чтобы хлеб взять под метлу, а большевики продадут ево немцам и купют Краснова материалу. Все стали шуметь, а Платон сказал, иделаем, граждане, над нём свой справедливый крестьянский суд. Они с Анисимом Пареным поставили комбеда на

коленки, и Платон говорит, какое у тебя, кровопивца наших детей, будет последнее желание, может, подойдёшь к кресту. А комбед поглядел по народу и говорит: «Женщины, кто недалеко живёт, принесите испить». А Дарья Пареная к нему кинулась, схватила за волосы и закричала: «Будя, напился». Тогда комбед как вскочит, лягнул Платона Торилина по брюху и закричал на весь народ матерно: «Што же вы за этих кулаков стоите, рази вам советская власть мало добра переделала». А тут кто-то кинул в отхожее место, то есть в деревянный нужник, полено и закричали: «Бонба!». Весь народ посыпался кто куда, а я был тогда молодой и прыгнул под самую кручь в овраг и лёг за навозом. А когда все сходитца начали, то комбед, хоть и связанный, бёг по дороге к лесу. Платон говорит: «Што же вы, ребята, распрягайте лошадь, я ево верхи догоню». А Коська Бутырин старый сердешник от телеги поднял и говорит: «Поскачи только, кулугур редкозубый, я те живо черепашку снесу». Платонов и осёкся. Он потом к белым привязался, а когда в деревне объявился, ему 19 лет дали. А комбед был Антон Никитыч из Грачёвки. Он ещё живой и старик в силе».

— Ты его, может, и помнишь, — сказал Андрей Егорыч, — прошлым летом он как раз в твой приезд приходил после града окошки вставлять. Жилистый такой.

Я помнил. Высокий сутулый старик в кожаном фартуке стоял тогда на завалинке и работал с каким-то тихим упоением. Я отметил, что у старика бритое лицо с крепкими складками и морщинистая в крупную клетку шея, перепоясанная лямкой фартука. Может быть, увлечшись этими мелкими деталями, я не догадался предположить, что за плечами старика тяжело синеют горы самой настоящей истории. А он, окончив дело, собрал в ящик осколки стекла, взял с Плетнёва рублёвку и медленно ушёл.

«...Один раз у нас чуть колхоз не развалился. Григорий Портнихин ездил на подводе в деревню Шлеповку, и там его встретил Аким Круглов. Он обрадовался и говорит: подвези меня до дому. Нет, говорит Портнихин, я тебя не подвезу, иди пеш. А потому иди пеш, что ты, дескать, в колхоз пришёл с одними портками, а я сдал Гнедка и Серуху, значит, мне ездить положено, а ты, Аким, налегке, промнись. Аким ему на это сказал, у нас теперь всё общее, и над ло-

шадьми он такой же хозяин. Портнихин спрыгнул с телеги и говорит, а вот этова не хошь, и выставил спроть нево кулак. Акима взяло за сердце, он себя позабыл и кинулся на Портнихина, ровно кочет. Портнихин был мужик твёрдый, в кровь излущивал Акима, нахлыстал лошадь и уехал. Аким пришёл в Заречный весь раскровененный и пошёл прямо в правление. Сбежался народ и стали все шуметь. Аким стоял на крыльце и сперва рассказывал, а потом заплакал и говорит, видно, и в колхозе одним богачам хорошо, отдайте мне назад заявление. Мы тут закричали: или выгоняйте Портнихина из артели, или мы, вся беднота, сами отделимся и сделаем свой колхоз и пусть хоть голые ходить будем, зато никто нам своим добром глаза колоть не станет. Пока шумели, пришёл председатель товарищ Чижов, старый большевик. Ему рассказали, и он сказал речь, которой мы были довольны. Он сказал: эта драка не простая, а классовая, и врагам мы должны давать отпор что ни на есть крепкий. Предлагаю, говорит, Портнихина за его собственность, за издевательство и удары над бедняком из колхоза с позором выгнать и отдать под суд. Дали тогда Портнихину никак год и из колхоза выгнали. Назад он в колхоз вошёл уж перед самой войной, когда у нас злость притухла».

Я читал вслух и старик, насупив брови, слушал с хмурой сосредоточенностью, изредка подсказывал, где я запинался. Видно было, что всю свою историю он знает слово в слово.

— Видал? — сказал он, отбирая у меня тетрадку. — Ты читаешь, а у меня всё это в глазах стоит. Как вроде вчера было. Какие годы прошли! Там про товарища Чиждова помянуто. Таких людей, милый друг, земля не каждый день родит. Родит, а потом погодит. Он у нас прямо в жнитво умер. При царском режиме шесть лет каторги сидел. Крупный был мужчина, а здоровья плохого, всё на сердце обижался. И во рту, скажи, ни одного живого зуба не имел - все вставные. И лысый, как ладонь. Тогда ведь как жали: серпами да лобогрейками — «дед косит, баба вяжет». Вся деревня в поле. А дни ужасно жаркие были. Сейчас уж таких как-то не бывает. Солнцем-то его, видно, и взяло. Вязал-вязал, смеялся всё с нами, а потом отставать начал. Бабы постать прошли — обедать сели. Его нет и нет. Ну, дескать, заработался, беги за ним, девки. Сидит он, парень, под поставцом

в тенёчке, как словно пригорюнился. Тронули его, он и повалился — готов. — Андрей Егорыч встал и шумно поддержнул цепочку у ходиков. — Никуда я отсюда не уеду, парень. Весь я тут. Вчера, кажись, по радио передавали: копают учёные землю лопаткой, найдут какой предмет и рассуждают: как раньше человек жил. Я вот историю напишу и тоже закопаю тетрадку на огороде. Люди сюда опять жить приедут, не может быть, чтобы такое место пустовало. Разбогатеют и сюда электричество дотянут. Приедут. Откопают мою тетрадочку, почитают. Вот, скажут, какие тут люди жили.

— Зачем же зарывать, — говорю я, — надо внукам отдать, пусть читают, учатся.

Плетнёв машет рукой:

— Глупы ещё, не понимают. Иной раз приедут ко мне ночевать, уроки начнут долбить, а я слушаю. Читают, как отцы да деды воевали. А настоящий-то дед рядом сидит, они и не видят.

Ночь. Тихо теперь на Заречном. Иногда только донесётся сквозь двойные рамы глухой звук оседающего на речке льда. В чёрном окне стоит бледный серпик народившегося месяца.

Перед сном я выхожу гулять. Долго иду по узенькой, плохо протоптанной тропинке. Она ныряет в лес, потом подходит к реке. Под слабым светом месяца тускло блестит лёд вокруг проруби.

Один за другим гаснут в посёлке все пять огней. На следующую зиму их останется только два. Трое уезжают. Исчезает Заречный.

Последние «крестьянские гнёзда». Честно говоря, есть в этом что-то навевающее жалость и грусть. Жалко чего-то.

...Мы, должно быть, то самое поколение, на чьих глазах уйдёт в прошлое старая деревня. Изживает себя и исчезает целый уклад, целый тип крестьянина, которого называли мужиком. Простой мужик патриархальной закваски, каков есть Андрей Егорыч, много столетий нёс на себе великую тяжесть России, собирал в душе и как единственный ответчик передавал поколениям весь нравственный опыт народа.

И этой его силой и ныне питается победный бег времени и всякое движение жизни. И вообще все мы.

И я — тоже.

Река детства

Река детства

Кондурча... немного поменьше Сока, но также красива, омутиста, рыбна и живописна.

С. Т. Аксаков

I

Отчётливо помню необыкновенность ощущения, с которым прочитал я в мальчишестве эти слова маститого писателя о речке, на которой я рос, на которой пропадали почти каждый летний день и которую знал так же хорошо, естественно, незаметно, как знал, скажем, старую печку в крестьянской избе. Ничем не примечательные для постороннего строки наполнили меня радостью, тщеславной гордостью и за Кондурчу, удостоенную быть отмеченной печатным словом, и за себя, как бы причастного к её высокой славе, и за весь окрестный мир во главе с деревней Булкуновкой. Как истину огромной важности, осознал я тогда детским умом, что люблю Кондурчу, люблю свою землю.

Люблю Кондурчу... Но что это значит? Люблю я и яблочки. Может быть, это равно любви к удовольствиям купания, к страсти ловить рыбу и сидеть в летних сумерках у костра с закипающей ушницей? Нет, не равно. Говорю смело: вместе с родителями, со школой, вместе с большим миром, представшим из книжек и кино, молчаливо воспитывала нас, деревенских ребятишек, клала какие-то свои мягкие, тёплые штрихи на наши податливые души и Кондурча.

Это не преувеличение, не литературная фигура, а правда в буквальном смысле выражения. Вряд ли нужно здесь много теоретизировать. В степи ли живут люди, в лесах, в горах или на пустынном ледовитом побережье —

это неотразимо накладывает на них и внешний, и внутренний отпечаток. Но это люди вообще, и лес вообще, и степь вообще. А вот представьте — ваш, именно ваш отчий дом стоит на берегу не какой-то абстрактной реки, а реки, безусловно, единственной в мире, ибо до поры до времени вы никакой другой и не знали. Здесь впервые непонятно сдавило вам сердце от вида красных закатных облаков, отражённых в неподвижной влаге, впервые поразил слух певуче-картавый звук скрученной в тугую воронку воды на перекате, и томительное, как предвестие истины, возникло однажды ощущение, что и река, и тёмные кущи леса над ней, и женственные головки лилий на чуть дымящейся поутру воде имеют сознание, осмысленно смотрят на нас и понимают самое лёгкое движение чувствами, сами чувствуют то же, что и вы. Этого не забудешь до смертного часа.

На вашей реке вы едва не в трёхлетнем возрасте научились плавать и, конечно же, несколько раз чуть не утонули, научились резво бегать на привязанных к валенкам дедушкиными обородами коньках и, конечно, не единожды проваливались на тонком льду, приходили домой обледевший и мокрый до ушей, а родители, вместо того чтобы упасть в обморок, ограничивались сурово-прозаическим подзатыльником. С вашей рекой связан и как бы основан на ней целый слой детского фольклора — радостных и жутко-сладких историй о «прорвах», омутах, «провалах» и «бездонных ямах», дна которых будто бы пробовали когда-то достать, привязав к гире все сто колхозных вожжей, но так и не достали. А вот пастух Спирька доставал: он мог, если захочет, пробыть под водой целый час, потому что у него, говорят, под мышками есть маленькие жабры, которых он никому не показывает, почему и купается всегда в нательной рубашке.

Купаться мы начинали примерно с 1 мая, правда, не в самой Кондурче, а в баклужинах, оставленных ею после половодья в заливных местах, прогретых солнцем до сносной температуры и с чудесным травяным дном. В одной из таких пересыхающих уже баклужин дед Самойла нашёл раз снулого, едва шевелящего жабрами сома в три пуда весом. Рыбину положили на телегу, а хвост её свисал

через грядку — такой была длины. Можете верить, потому что я не рыбак.

На рыбалку я любил смотреть со стороны. Ничего не знаю прекраснее того тихого, целомудренного вдохновения, которое вместе с солнечными бликами играет и дышит на лице мальчишки, отрешённо всмотревшегося в поплавок. Белёные бровки его приподняты, сам он весь подался вперёд, ало просвечивают его оттопыренные веснушчатые уши, нещадно жалит в шею слепень, и он пытается и не может согнать его бессознательно-слабым мановением руки, ибо всё внимание там, где начинают быстро-быстро возникать одно в другом лёгкие мигающие колечки: клюёт. Легко представить, как благотно влияют на маленького человека эти святые для него минуты сосредоточенности и чистого подъёма душевных сил.

Часто встаёт в памяти то ли целиком виденная, то ли из разных впечатлений сотканная картина. Роскошный июльский день, один из тех, которые в детстве кажутся удивительно длинными и прекрасными, как счастливая жизнь. Побелевшее от жары небо, высоту которого подчёркивают три стоящих на разных уровнях облака. Жжёт так, что слышится какой-то беспрерывный лёгкий шорох: сохнет и скручивается трава. Мы, пацанята, стоим у зелёного, почти круглого омута на десятисаженном обрыве и с восторженным замиранием сердца смотрим вниз, в эту солнечную бездну, где маленькими серыми тенями ходят голавли. Со стороны коровьего стойла со смехом и визгом бегут, спотыкаясь в песке, доярки. Они только кончили дойку, лица их красны, потны и сквозь оживление видна умеренность, истома. Не сбрасывая ни платков, ни выгоревших сарафанов, задрав головы и выпятив груди, с шумом влетают они в тёплую воду, с хохотом плещутся, а одна поплыла на середину омута: гонит перед собой крутую, ломающую отражения вётел волну, сильно бьёт по воде ногами, поднимая целый столб кипенных брызг, и на эти звучные удары весь омут гулко отзывается и гудит, словно колокол. А надо всем висит сонливая лень полудня, горизонт зыбится от маслянистых потоков марева, всякое другое движение замерло и только омут гудит,

взвизгивает, хохочет, как будто смеётся, ликует, наслаждается летом сама река.

Я люблю Кондурчу... И сейчас, через много лет, закрыв глаза, явственно вижу все мельчайшие приметы её милой физиономии, и кажется мне, что это одна из лучших малых рек, если уж не мира — не будем хватать широко, — то, во всяком случае, Поволжья. А впрочем... придётся, пожалуй, несколько сбавить тон ещё. Не из тех соображений, что не следует каждому кулику хвалить своё болото, а совсем из других. Из-за которых придётся начать, к сожалению, более грустную главу этого очерка.

II

Мы обмахнули у порожка валенки полуоблетелым банным веником и вошли в избу. Хозяин — небритый парень лет тридцати — вскочил из-за стола и стал приглашать завтракать. Перед ним стояла большая чёрная сковорода, полная жареной рыбы — ровного, крупного сорожняка. От завтрака мы отказались, спросили только, где он ловил рыбу. Если бы он ел картошку или мясо, мы бы, конечно, не стали любопытствовать, откуда, а рыба — дело другое.

— В Кондурче ловлена, — сказал хозяин. — Сейчас самая пора подошла. Сахарный завод воды сбросил. Вся рыба кверху брюхом плывёт. Шурин мой семь мешков поймал, руками, считай.

Парень вытащил из сковороды рыбину и, наклонившись, стал есть. Объев рыбе спину, он поднял на нас весело блестящие сощуренные глаза и сказал:

— Никогда не думал, что столько рыбы в Кондурче плавает, прямо гибель!

«Эх, парень, — подумалось мне, — не видел ты, значит, настоящей-то гибели».

Был я в ту пору зимой на каникулах в родной деревне. Насмотрелся.

Серым февральским утром по сонной деревенской улице, оступаясь в свежем пушистом снегу, бежал человек. На сытом разогревшемся лице его лежала печать сосредоточенной, почти мрачной озабоченности. Добежав

до новой избы с кокетливо разрисованными ставнями, человек забухал кулаком в окошко.

— Панька! Запрягай лошадь, в Кондурче рыба поверху плывёт!

За двойными рамами затянутых ледком окошек показалось неясное пятно Панькиного лица. Он, видно, о чём-то переспросил, потому что человек с улицы опять закричал с каким-то радостным озлоблением:

— Рыба, рыба плывёт, говорю! Шевелись скорее, чёрт!

И ожила деревня. Захлопали двери, дорогами, тропками, спрямляя путь, боясь опоздать, бежали люди к речке. Через полчаса здесь всюду кипела работа. Звенели топоры, пешни. С шорохом брызгала по снегу ледяная дробь. От берега к берегу прорубили узкие ленты дымящихся прорубей. Скорбная зимняя вода медленно выносила в них белые рыбы тела. Их тотчас же подхватывали — кто сачком, кто ведёрком, кто бабьим решетом — и бросали на истоптанный ногами снег. Улов был чудовищный. Не только мешками — сапными кошёлками, на которых возят с базов навоз, отправляли рыбу в деревню. Ловили и в Елховке — выше по течению, и в Малых Авралях — ниже, и всем доставалось, всем хватало. Рыба всё шла и шла.

Нурлатский сахарный завод впервые тогда показал, сколь горьки и ядовиты могут быть отбросы этого сладкого производства. Построенный в самых верховьях Кондурчи, он имеет возможность производить в ней поразительные опустошения. Уже на следующее лето как-то мертвенно-тихи стали золотые плёсы речки и не слышалось больше, хоть целый день сиди, чтобы где-то в тенистой заводи ударила хвостом по воде разыгравшаяся рыба, чтоб аж зачмокали у берега торопливые волны.

С тех пор Кондурче наносится удар за ударом. И ведь надо же! Всё-таки сидят там рыбаки с удочками и вздрагивают у них время от времени поплавки. Сколько живучести и сопротивления у реки, как могуч её организм, её биологический комплекс! Сколько усилий надо приложить, чтобы свести её на нет, не дать выбраться из состояния «клинической смерти»!

Горько, конечно, рассказывать об этой опустошительной речной трагедии. Но самое печальное, может быть, даже и не в ней. Может быть, стократ печальнее то радостное ликование, которое охватывает иных людей при виде плывущей отравленной рыбы. В этом-то ликовании, по-видимому, и есть причина всех причин, по которым безмолвная природа наша терпит столь болезненный ущерб и оскудение.

Цинизм безразличия к природе ещё крепко сидит в характере у многих, начиная от браконьера, вооружённого фонарём и острогой, и кончая людьми, имеющими в руках возможности к массовому уничтожению окрестной живности и растительности. Ни штрафы, которыми облагаются ни в чём, в общем-то, не повинные бюджеты предприятий за причинённый ущерб, ни новейшие конструкции очистительных сооружений не помогут, если мы не изживём ущерба в самой человеческой психологии.

Не будем облегчать себе задачу и утверждать, что мы имеем дело с пережитком прошлого. Нет, на наших глазах как-то исподволь и незаметно сколотился косячок людей, которым хоть трава не расти и хоть потоп будь после них. Старики-то наши — люди как раз другого склада. Расскажу случай. К дяде Яше, деревенскому старику гренадёрского сложения, приехал из города зять — бойкий, разбитной малый из мастеровых. Привёз с собой два пуда поташа и, когда пообедали, выпили, сказал тестю со значением в голосе:

— При помощи этой штуки мы с тобой, дед, завалимся рыбой.

— Это лебастр, что ли? — простодушно сказал старик. — Какая же от него рыба?

— А вот какая... — И зять объяснил технологию рыбалки.

Берётся, стало быть, поташ — химическое вещество, дающее в растворе щёлочь, — отыскивается тихий, спокойный, со слабым течением омут, и этот самый украденный с завода поташ засыпается в реку. Теперь остаётся терпеливо ждать. Мягкая речная вода, пахнувшая до сих пор только водорослями да корой ивняка, насыщается химией. Раствор становится всё крепче и крепче, и через

енное количество времени поверхность омута делается, белой, как платок, ибо вся живность, включая лягушек, всплывает.

— Нет, — с расстановкой сказал дядя Яша, — так рыбачить, дорогой зятёк, ты не будешь.

— А почему же нет?

— А потому, скотский твой дух, что я на этой реке всю жизнь прожил и поганить её не дам! Я за жизнь свою ни разу в воду не плюнул, потому что добрые люди реку матушкой зовут, слышал ты когда-нибудь про это? Забирай свою белилу и сгинь с глаз, пока я тебе морду не разворотил!

Гость обиделся, взял «белилу» и пошёл на большую дорогу дожидаться автобуса.

...Два водителя привезли на грузовиках в колхоз гексахлоран — сильнейший яд, убивающий на поле каждую блоху, — разгрузились и заехали мыть машины в Черемшан. На двадцать километров плыла по воде мёртвая рыба. Случайность? Не сообразили? Не подумали о последствиях? Они и думать не хотели, дорогой читатель, у них других забот много, не привито им, чтобы о природе помнить.

Я мог бы для равновесия рассказать и о другом племени людей, которые не за мзду, не за деньги, а из чувства святого патриотизма всю жизнь день за днём обивают пороги кабинетов, пишут во все инстанции, звонят в большие и малые колокола, желая обратить внимание на меркнувший лик природы. И я знаю, что некоторые сильно занятые люди избегают их принимать и, завидя в конце коридора, спешно скрываются за ближайшей дверью. Эти «занятые», в сущности, относятся к той категории, о которой говорилось выше.

Встретив человека через пятнадцать лет, мы можем воскликнуть: «Ба! Как ты изменился, старик!». Пятнадцать лет назад Кондурча была свежей, нарядной, полноводной для её размеров речкой. Сейчас, придя на её берег, вполне можно сказать: «Как же ты похудела, постарела и подурнела, старуха!». Что же мы делаем, товарищи, если возраст реки стал измеряться не геологическими периодами, а быстротечными днями одной человеческой жиз-

ни! Река обмелела, избавленные от лесов берега сползают в воду, глубокие места затягивает песком, а на перекатах она в иных местах того и гляди пересохнет летом. Предпринимал ли хоть кто-нибудь обследование её русла, водного режима и т.п., чтобы составить пусть отдалённый план «лечения»? В старину на Кондурче стояло шесть мельниц, шесть плотин. Может быть, восстановить их? Может быть, реку просто надо чистить? Может быть, нужны какие-то другие, известные только специалистам меры?

...Мы строим коммунизм. Мы должны принести туда всё светлое, высокое, дорогое, что накоплено народом за века. Принести не только богатство, индустриальную мощь, леса нефтяных вышек, но и прекрасный мир природы. Я хочу, чтобы при коммунизме текла Кондурча и чтобы была она, как выразился наш предок, «красива, омутиста, рыбна и живописна».

Тенетник

*Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора;
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера...*

Предположим, что дом ваш стоит у самой реки и вы привыкли бегать по утрам купаться.

Прошёл август, потекли мягко сияющие дни сентября, а на дворе ещё ничего не меняется к осени: тепло, зелено, а к полудню даже и знойно. В далёких душевных закоулках появляется у вас нелепое ощущение, что всё так пойдёт и дальше, никакой осени не будет.

Но вот однажды поднимаетесь вы, по обыкновению, рано, снимаете с гвоздя полотенце и босиком, разумеется, выходите на крыльцо. Всё в вас радостно откликается даже на такое простое дело, как ступание босыми ногами по чистому полу. Вы готовы мчаться во весь дух, разрывая сонный воздух утра, чтобы на ходу уронить полотенце у берега и броситься в прохладную, солнечную, душистую воду речки. Жемчужный столб брызг поднимется над водой, веером порскнёт во все стороны ошарашенная рыба мелочь, а где-то в глубине омута стремительно и мягко тронется с места старая щука.

Вы стоите на крыльце несколько мгновений и вдруг понимаете: что-то вокруг не так.

Ступеньки холодны и мокры, точно вымытые, стёкла в окошках густо окроплены тяжёлыми, даже на вид холодными каплями. Трава, кусты сирени, жерди изгороди — всё стало матовым от налёта росы, поверхность реки, похожая на задышанное зеркало, постоянно и ровно дымится, точно снизу её подогревают. Весёлая, короткая дрожь пробивает вас.

Осень!

Новыми глазами смотрите вы на мир и смутно чувствуете что-то похожее на то, как если бы, глянув однажды в зеркало, впервые заметили блеснувший на виске седой волосок. Осень!

Солнце встаёт в полдерева, в дерево, и всё ещё нет в нём жгучей силы, медленно исчезает его нежно-алый румянец, медленно появляется чуть отпрянувшая от диска блистающая корона лучей, и, не щурясь, долго можно смотреть на его прекрасное чело.

Высоко, прямо и неподвижно вознеслись к безмолвному небу розовые столбы дыма. Поперёк улицы лежат чёрными теремами треугольные тени домов. Между ними всем богатством цветов и оттенков, как бы стреляя в глаза, блещут крупные капли росы.

Комбайны в поле ещё стоят в утрюмой неподвижности. Немного спустя просохнет хлеб и глухо взревут заведённые моторы, из выхлопных труб стремительно полетят сперва чёрные, потом полынно-сизые ядра дыма, постепенно замедляясь и обретая благородную плавность облака.

Час от часу утреннее очарование пропадает. Солнце делается маленьким и далёким, подымается, поворачивает на обед; воздух нагрелся, земля просохла и на всё лёг отпечаток будничности, обыкновенности. Но и это прекрасно. Во всём удивительная просветлённость, лёгкость и чистота. Краски чуть-чуть туманны, акварельно-блёклы, горизонт отступает далеко, мягко повторяя изгибы земли.

Летит тенетник. Его бесчисленные нити вытянулись на траве в одну сторону, блестят. В пустынном небе заводят свои таинственные игрища птицы. Скоро улетать им, вот и пробуют они свои крылья: донесут ли?

Среди зелени леса застывшими сполохами багрянеют молодые осины, крона вяза пестрит бледно-жёлтыми анемичными листьями, в поникших космах берёз проглядывают длинные оранжевые пряди.

За лесом упала на горы и доли тёмная лента шоссе. Асфальт его стонет и гудит под колёсами машин. Здесь в эту пору года самое оживлённое движение — везут хлеб.

Свистит рассекаемый воздух, бьются и хлопают закрывающие зерно полога, победно трепещут флажки на радиаторах. Одна за другой мчатся машины и груз в них один — хлеб, хлеб, хлеб...

Осталось сказать ещё о непередаваемой прелести осеннего заката. Виновато улыбающееся солнце низко стоит над горизонтом. Тёмно-красный свет его лежит на земле, мягко освещает деревенские кровли, сочится на дворы сквозь щели ворот. Всё напоено прелестной осенней печалью, грустью, усталостью. Хорошо в это время сидеть на крылечке наедине со своими тихими думами, ждать первых звёзд, смотреть на уходящие вдаль пустующие поля.

*Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде;
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.*

Листопад

Как ни люби лето, как ни отдавайся ему в бесконечных купаниях, в упоении солнцем, в наслаждении буйством и роскошью зелени, никогда не противится душа началу ранней осени. Наоборот, для меня встреча с ней всегда волнующа и желанна.

Никогда, может быть, не ощущаешь так полно и звучно радость бытия, как в эти дни, когда светло и величаво начинает кручиниться лес, заброшенно синее заблудившееся в осиннике озеро, глухо падают ночами на землю тяжёлые жёлуди, летит паутина и постоянно слышна самая лучшая музыка в мире — музыка листопада.

Бывает, конечно, что начинается осень с дождей, с непогоды. Так ведь и непогода — что ж! Надел сапоги, старое, вытершееся, но какое-то особенно удобное для тебя пальто, в котором щеголял ещё в студенчестве, поглубже надвинул кепку и пошёл дышать сырым и пьяным ветром ненастья. Крупные литые капли редко и косо летят с низкого, почти чёрного неба, с разных сторон порывисто и упруго толкает ветер, а у тебя в душе какое-то глупое и блаженное чувство превосходства над природой: дуй, дуй — не возмёшь через драп-то...

Как выйдешь за околицу — далеко тебе откроется затянутая дымкой покоя и усталости земля.

Не знаю, чем объяснить, но даже и весна не действует на душу так светло и очистительно, как эта вот осенняя, покорно мокнущая равнина с лиловыми пашнями, с золотыми стадами омётов, с неестественно яркой зеленью озими. Хорошо врачует осень душевные горести и невзгоды.

Вчера за речкой, на сером истопанном скотиной выгоне встретился мне старик Красавин. Чуть надломленный в пояснице, согнутый, но идёт бойко, легко и весело попирая землю кирзовыми, криво стоптанными сапога-

ми. Когда бы его ни увидел, всё время напевает он стариковским фальцетом какие-то нездешние, в солдатах ещё усвоенные им песни:

*Высоки горы Карпаты,
Я едва на них взойшёл...*

Старик уже «убрался в варежки», тяжёлый картуз надет на самые уши, но, здороваясь, Красавин всё-таки поднимает его над седеющей редковолосой головой. На плече у деда лопата, под мышкой зажат свежевыкопанный тополёк с ещё не облетевшими лимонно-жёлтыми листьями.

— Размяться вышел? — спрашивает он меня. — Гляди, сидяча-то работа доведёт. Приходи ко мне уже дрова пилить — заместо физкультуры.

— А ты куда, дед Василий, двинулся?

Старик вроде бы смущается:

— Да вот, блажь нашла, тополь хочу воткнуть.

— В палисаднике?

— В палисаднике у меня зелено. Вон на том бугре.

Поглядев на моё недоумевающее лицо, дед объясняет:

— Тут ведь испокон веку тополь рос. Во всём чистом поле один. Хорошо на него глядеть было. Той зимой мы поехали за соломой на тракторе. За него санями задели — ни туда ни сюда. Так и срубили. С тех пор вот как полем еду — всё не по себе мне как-то. Чего-то недостаёт. Как словно трубы у меня в избе нет. Или вот ты бы меня встретил, а я без бороды, голый. Чудно бы тебе было? Думал-думал и решил: дай-ка я другой посажу. Сломать-то мы все мастера. Посадить не горазды.

Долго смотрю вслед славному старику. Идёт, сутулится. Кажется, и не идёт вовсе, а несёт его ветер по полю. Три войны прошёл человек, всякого лиха видел в жизни, а вот — поди ты! — сумел нетронутой сохранить в душе детскую, поэтическую впечатлительность.

Скрытое за тучами солнце вдруг осветило край земли далеко за лесом. Чётко завиднелись там крыши домов. И всё пространство вдруг словно бы раздвинулось, наполнилось светом. Смотришь и кажется: лежит там вдали какая-то необыкновенная, чудесная, когда-то тебе уже снившаяся золотая страна.

Сухая Грива

Может быть, вы тоже замечали: в дальней дороге, когда пройдёт первый, самый оживлённый момент путешествия, разговоры между спутниками притихнут и наскучат всё новые и новые однообразно-разнообразные подробности пейзажа, к вам приходит какая-то странная дремота сознания; в нём всё чаще и чаще появляются «окна», в продолжение которых вы, кажется, ни о чём не думаете, потом «окна» сливаются воедино, вы впадаете в зыбкое состояние бессмысленно-поэтической расслабленности, которую не могут развеять даже толчки и встряхивания машины.

И вдруг обнаруживается, что давно уже плывёт у вас перед глазами поразительно чёткая, до малейших штрихов высвеченная солнцем картина детства — такого далёкого, что даже непонятно, как всё это могло, ничем себя не выдавая, тайно жить в памяти.

...Было мне года три или четыре, когда впервые поехал я с дедом и бабушкой на сенокос под Сухую Гриву. Дед разбудил меня непривычно рано и я, сев в кровати, первым делом заплакал самому неприятным ноющим плачем.

— Нишкни, — сказал дед. — Мне с тобой нянчиться некогда. Собирайся живой рукой.

Я не утих, а даже надбавил плача. Подошла бабушка и ласковыми, ничего не значащими словами как бы против моей воли успокоила меня.

— Ну, дурак, дурак, чего же ты кричишь? А я тебе сейчас творогу дам. А гляди-ка, вон у двора-то лошадь стоит. Давай штаны надевать, эх, куда их закинул...

Удерживая слёзы, я скосил глаза в окно и увидел у двора огромную белую лошадь, запряжённую в рыдван, — что-то тоже огромное, неуклюжее, притягивающе-непонятное. Самое удивительное было то, что лошадь спала, стоя на трёх ногах, а одну как-то подтянула и поч-

ти не касалась копытом земли. Куры бесстрашно ходили под лошадью и под рыдваном. Дед укладывал косы, вилы с граблями, потом повесил на угол бидончик с водой и, хмуро посмотрев на окно, крикнул:

— Я кому сказал — живее!

Меня усадили на телогрейку между палок рыдвана и велели крепче за них держаться. Неуклюже, боком пролезла бабушка и села рядом; в опасной близости от колеса устроился дед, разобрал вожжи, чмокнул губами. Лошадь пришла в движение — встала на все ноги, расправилась, сделалась ещё как будто больше ростом, рыдван заскрипел, зашатался, отчего я прямо впился ручонками в палки, и мы поехали. Сперва ехали шагом, потом дед опять чмокнул губами и мир перешёл в другое состояние: лошадь побежала трусой.

Низко над землёй стояло никогда раньше не виданное мною солнце: огромное, без лучей, позволяющее спокойно рассматривать себя. Оно, впрочем, не стояло, а медленно катилось вслед за рыдваном и мне думалось: «Как же так: где мы, там и солнце. А если бы мы не уехали?».

Сделал я и ещё одно открытие: если задрать голову и смотреть в небо, то начинает казаться, будто едешь в обратную сторону. Мне хотелось расспросить обо всём бабуку, но грабли и косы так гремели, а лошадь так страшно фыркала, что я не решался разговаривать.

В одном месте дед остановил лошадь и стал пререкаться с бабушкой, как ехать — прямо или в объезд.

— Утопишь ты нас, отец, — говорила бабка. — Прямото, поди, ещё и переезда нет, вода не вся спала.

— Егор уж ездил...

— Ну, гляди, гляди...

Дед поехал прямо — мимо осокоря, потом лесом, где деревья иногда так густо нависали над дорогой, что становилось совсем темно и охватывала сладкая жуть. Проехали близ озера, на дне которого кто-то тихо и беспрестанно гудел: бу-у-у-у-у....

— Кто это? — спросил я.

— Бухало, — непонятно ответила бабка.

— Кусается?

— А ты испытай...

Пронзительно и ярко горела кругом роса, громко,

свежо и празднично щёлкали птицы, а в бидончике певуче плескалась вода. Много утр пришлось потом мне переживать, но даже лучшие из них были лишь подобием того первого, когда моя не тронутая впечатлениями душа с ненасытимой жадностью впитала в себя все краски развернувшегося перед ней мира.

Мы остановились у речки, где дорога прыжком сбегала с крутого берега прямо в зеленоватую, покрытую воронками воду. Бабка испуганно посмотрела вниз и проговорила сердито:

— Леший ты старый, не ехалось тебе в объезд. Я ведь говорила, что воды ещё много.

— Запричитала! — крикнул на неё дед. — Аль утонем? Возьми Лёньку на руки да встань стоймя. Егор третьего дня ездил. — Бабка взяла меня на руки, дед тоже встал, грозно оглянулся, крикнул: «Держись»! — дёрнул вожжами. Началось что-то невообразимое. Рыдван перекосялся, застоялся и вдруг куда-то провалился передними колёсами. Лошадь мучительно сопротивлялась крутизне всеми ногами, но хомут налез ей на уши, она, не сдержавшись, понеслась вскачь и со страшным шумом врезалась в речку.

— А-а-а-а! — закричал я.

И ужас, и восторг прострелили мне сердце. Потом восторг исчез и остался только ужас. Рыдван заливало водой, лошадь погрузилась гораздо выше живота, и хвост её понесло течением в сторону. Ноги мои оказались в воде, бабкина юбка надулась пузырьём, затонувший чуть не по пояс дед растопырил в руках вожжи и кричал что-то странное:

— Хоу, хо-о-оу!..

Побледневшая бабка изо всех сил прижимала к себе меня, онемевшего от страха, и чётко, внятно приговаривала:

— Эх, старый дурак... эх, старый дурак...

Наконец лошадь добралась до мели, сильным рывком дёрнула упряжь, выскочила на сушу, с утробным сдавленным ржаньем в единый миг вынесла рыдван на кручу и остановилась. В наступившей тишине было слышно, как весело сбегает вода с рыдвана, с лошади, с дедовых штанов, с моих шерстяных чулок. Вымытые колёсные шины мягко светились. Дед повернулся к нам с бабкой, широко раскрыл волосатый рот и, выказывая два больших жёлтых клыка, хрипло и радостно захохотал.

Заяц

Мы ехали ночью на «газике» и я уже начинал задрёмывать. Нас было двое: шофёр да я. Пустынный асфальт дороги местами поблёскивал ледком под светом фар, а временами почти сплошь покрывался дымящейся наволочью позёмки. Снаружи играл мороз с ветром, а в машине было тепло, работала печка и, как всегда, от этого контраста охватывало сладкое чувство уюта.

— Гляди, гляди, гляди! — с каким-то слёзным восторгом закричал вдруг шофёр.

Впереди нас, заложив уши, «мигая» ослепительной мочкой хвоста, нёсся заяц. Пойманный широкой полосой безжалостно-едкого света, он никуда не сворачивал, а горбатого катился перед нами по асфальту, ошалело кидая за голову негнущиеся задние ноги.

— Держи-и-и! — закричал я не знакомым мне голосом. — Газуй! Догоняй!

С натужным воем машина начала настигать зайца. Уже до будничности ясно стали видны его белые, с желтоватой подпалинкой «штаны». Прибавить скорости заяц уже не мог. И тут голос благоразумия проснулся в нас.

— Хватит, — сказал я, — отпусти его.

Шофёр на секунду выключил свет и заяц тотчас же канул, пропал.

Остаток дороги мы ехали в оживлении, по несколько раз рассказывая друг другу о только что увиденном.

Приехал я домой, поужинал, почитал, подумал опять о зайце и вдруг стыдно мне стало. Стыдно за пережитый восторг, за нечеловечий азарт погони. Что же творилось в бедном заячьем сердце, когда мчался он впереди ревущего чудовища с этими ужасными, ослепительными, мёртвыми глазами? И как долго, наверное, он ещё скакал потом по железным от мороза, ранившим гребням пашни.

«Стыдно, — подумал я, — стыдно».

И уснул.

Девочка на санках

Всякий, должно быть, знает ту пору февраля, когда уже начинается вроде бы пахнуть весной, в затишье скупно и сдержанно пощёлкивает капель, лысеют косогоры, но выдаются, между тем, дни, наполненные леденящим холодом; при ярком солнце и чистом небе с осмысленным упорством несётся над мёртвым однообразием полей ровный промозглый ветер, и хоть три тулупа надевай, он с необыкновенной лёгкостью пронизывает не только одежду, но, кажется, и само человеческое тело. Много надо иметь в душе жизнерадостности, чтобы не овладело тобой в такие дни чувство неуюта и не поддался бы ты могучей печали природы.

Я шёл мятижным просёлком по плохо заметному санному следу. Ветер был мне встречь, сёк лицо, прохватывал до костей, цепенил—прямо мордовал. Приходилось то закрываться варежкой, то поворачиваться спиной и пятиться наподобие рака. Как о великом блаженстве, мечталось скорее добежать домой и с сыновней нежностью приникнуть к нашей неуклюжей, обшарпанной, но такой ласково-тёплой печке. Замёрз я основательно и, если бы меня попросили сказать «тпру!», вряд ли мои окоченелые губы сумели бы произвести незамысловатый звук.

Так, крутясь и кособочась, добежал я до Сухого бугра, откуда до деревни оставалось с версту, не более. Гладко отшлифованный полозьями санок бугор льдисто блестел и, конечно же, был пустынен: кому придёт в голову кататься с горы в такую окаянную погоду.

А, впрочем, виноват... Махонькая девчонка лет пяти, толкая перед собой саночки, взбиралась на острую вершину бугра, там разворачивалась, падала на салазки животом и неслась прямо и стремительно, словно торпеда. Когда салазки останавливались, девчонка с величайшей кропотливостью одолевала скользкий склон и опять ска-

тивалась. На моих глазах в полнейшем одиночестве, под лютым ветром она беспрестанно и деловито сновала туда-сюда, будто выполняла наложенную кем-то повинность.

Потом девчонка, видно, решила, что удовольствие исчерпано, развернула салазки на дорогу и побежала домой. Бедняга! У маленьких железных её салазков не было верёвки и ей приходилось толкать их, согнувшись в три погибели. А до дому целый километр. Одета девчонка была более чем легко. Плохонькие валенки, старенькое тесное пальтишко, рукава которого не доходили до варежек, и ничем не защищённые голые запястья краснели, как помидоры. Так, упиравшись в салазки руками, она бойко семенила впереди меня и я, даже ускорив шаг, не мог её настигнуть.

И, должно быть, не настиг бы, если бы она сама не остановилась и не села отдыхать на санки. Под носом у неё было мокро, сивенькие волосёнки выбивались из-под платка, но на лице не было никакого уныния, и синие чистые глаза так и сияли неугасимой смышлённостью.

— Здрасьте, дяденька! — сказала она, когда я подошёл ближе.

— Здравствуй!

— Вы, наверное, думаете, что это у меня салазки?

— Ну да!

— Это не салазки.

— А что же тогда?

Девчонка снизу вверх серьёзно посмотрела на меня и, ловко мызганув под носом варежкой, проговорила с полной убеждённостью:

— Это — мучители!

— Эх, горемыка! — сказал я. — Давай дотащу их до деревни.

— Вот ещё, — обиженно молвила девчонка, — чать, я сама в силах.

И опять затрусила дальше.

Глядя на неё, и я зашагал веселее. Словно бы теплее сделался ветер и было немного стыдно, что я, живой человек, так спасовал перед холодом, так поддался хандре и унынию.

«Мало что — ветер, — думалось мне. — Всё равно уже весна скоро. Небось отогреемся...»

Вкус воды

С тактических занятий мы возвращаемся в самую полуденную жару. Зной необыкновенный. Кажется, что тебя прижигают увеличительным стеклом. Солнышко в самом зените — маленькое, мгновенно темнеющее и расплывающееся в глазах. Да что солнце — автоматный приклад, глянec молодой травы, стекло грузовика, едущего по далёкой дороге, — всё блестит, лучится, брызжет и сияет ослепляющим светом. Глаза постоянно прищурены и от этого даже чуть-чуть устали веки.

Прочем, устали у нас не только веки. После четырёх часов основательной солдатской науки, кажется, нет в теле ни одной жилки, которая бы не ныла, не просила отдыха. Лица у всех потные, красные, какие-то размякшие. Проведёшь языком по губам и ощущаешь горьковато-солёный привкус пота. Но идём мы споро и, если посмотреть со стороны, даже покажется, что легко. Как бы ни устал солдат, его натруженные ноги твёрдо знают своё привычное, навеки усвоенное дело: раз-два! раз-два!

Из-под наших ног, из молодой, напоённой пролившимися накануне дождями травы с сухим стрекотанием вылетают кузнечики и ныряют опять в свои травяные джунгли. Там кипит жизнь. Слышатся разные пощёлкивания, потрескивания, верещание, попискивание, редкие меланхолические посвисты. Всё это сливается в тягучий дремотный хор — ленивый голос июньского лета.

Мы очень хотим пить. На поясе у каждого болтается фляжка, но воды в ней, разумеется, ни капли — выпили. Во рту ломкая плёнка сухости. Глотнёшь слюну — и вдруг кольнёт, запершит в горле. Никакой особой трагедии в этом, конечно, нет. Самое большее через час мы дойдём до лагеря. Там к нашим услугам колодец воды. Напьёмся, умоемся. При этом, наверное, будем баловаться и брыз-

гать друг на друга. Ах, вода, вода! Хоть бы глоточек тебя сейчас.

Мы ещё и не подозреваем, что через десять минут нас ждёт настоящий праздник. Сержант командует нам принять правее. Принимаем правее. Пересекаем живописную, поросшую метельником ложбину, поднимаемся вверх и подходим к краю чистенького берёзового леса. На опушке воздух особенно неподвижен, тяжёл и жарок. Запахи разогревшихся трав густы до духоты. Оцепенелые берёзы свесили свои зелёные ветви-волосы. На всём — печать необоримой полуденной летаргии.

Идём лесом. Сначала жиденький, он постепенно густеет и всё увереннее обдаёт нас прохладой и свежестью. Встретилось жалостливо лепечущее о чём-то семейство осинок, потом пошли липы, старые кряжистые вязы, ясени, попалась первая мрачная исчерна-зелёная сосна.

Шагающий впереди меня гранатомётчик Митрохин с чертыханием спотыкается, ворошит прошлогодние тлеющие листья, источающие тонкий запах то ли грибов, то ли плесени.

Постепенно мы оживаем, начинаем оглядываться по сторонам, перебрасываемся словами. Вдруг сержант останавливает нас, несколько мгновений присматривается к стоящим впереди зарослям, потом ныряет туда.

— Разойдись! — кричит он через минуту. — Давай все ко мне.

С радостным оживлением мы ломаем строй, пробираемся через трещащие кусты на голос. Кто-то впереди меня истошным голосом кричит «ура». Я выскакиваю из чащобы и на мгновение застываю на месте. Сержант сидит на корточках перед углублением, густо заросшим травой, между стеблей которой чернеет, мерцает, просвечивает тёмное зеркало воды.

— Родни-и-ик!

Суетясь, волнуясь, мы окружаем родничок, падаем кто на колени, кто прямо на живот, опускаем в воду фляжки и с блаженством ощущаем, как они медленно тяжелеют и становятся холодными. Потом в лесу вдруг наступает мёртвая тишина. Слышатся только гулкие звуки наших глотаний. Вода жгуче-холодна. После нескольких

глотков сводит челюсти, ломит в затылке. Кто-то, чмокнув, отрывается от фляжки, с восхищением произносит:

— Ледяная, зараза! — и снова — гылк! гылк!

— Перекур, — командует сержант.

Мы с изнемождённо-расслабленными от полученного наслаждения лицами валимся в траву. Плывут в воздухе голубые разводы папиросного дыма. Мы молчим, всё ещё переживая случившееся.

— Ребята! — кричит вдруг наш долговязый пулемётчик Коровин. — А ведь мы неправильно пили!

— Правильно, — блаженно говорит Митрохин, — всё правильно.

— Да нет же, говорю, неправильно! Разве такую воду фляжками надо пить!

Коровин бежит куда-то в сторону и возвращается с большим шершавым лопухом в руках.

— Эту водичку не фляжками надо... — бормочет он, становясь перед родником на колени, — вот её как пьют по-настоящему-то...

Он делает из лопуха нечто вроде кулёчка и задевает им воду. Вода течёт из лопуха то струйкой, то широким водопадом проливается Коровину на лицо.

Митрохин не выдерживает.

— Подумаешь, — говорит он, — да я почище этого способ знаю. — Гранатомётчик исчезает в кустах и приносит оттуда длинный полый стебель. Потом ложится у родника набок, опускает один конец в воду, другой берёт губами. Щёки его начинают ходить, как мехи.

Мы с минуту смотрим на них, потом вскакиваем, бросаемся кто за лопухом, кто за стеблем и снова начинаем пить.

В моей жизни мне, наверное, придётся попробовать ещё множество прекрасных напитков. Но наперёд знаю: ни один из них не будет вкуснее и слаще, чем лесная родниковая вода после четырёх часов тактики.

Ночная песня

Взолотую пору студенчества часто ездили мы субботними днями за Волгу, в Жигули, с ночёвкой и поездки эти теперь уже спутались и перемешались в памяти, как детские сны, но одну помню крепко и отчётливо.

Третий день готовились мы к страшному экзамену по химии, третий день я то сидел в читалке, то лежал на кровати в общежитии с учебником в руках и уже достиг того знакомого каждому студенту состояния, когда гаснет мир за пределами книги, ум работает сосредоточенно и споро, появляется почти физическое ощущение наполняющих тебя знаний и когда, бывает, окликнут — возвращаешься к действительности, словно из-под воды вынырываешь.

Вот в такое-то время мне и сказал приятель:

— Поехали на лоно?

— Опомнись, какое лоно? Я ещё только на теории диссоциации сижу.

— Чудак! Возьмём учебники. На природе лучше учиться. И загорим заодно. Ты посмотри, какая погода.

И я, дурак, посмотрел.

Прямо перед окнами протекала Волга и над всей её владычной, выпуклой, казалось, поверхностью было столько солнечного простора, что невольно являлось желание глубже вздохнуть. Грудь реки чешуисто блестяла. По белому боку огромного трёхпалубного парохода с радостным трепетом летели рассеянные блики и звуки расхожего мотивчика каким-то образом преобразовывались над речной ширью в прекрасную торжественную мелодию.

Дальний берег в своей удалённости казался игрушечным, но такова была сила освещения, что всё виделось подробно, даже тени деревьев, даже позы купальщиков. Казался тот берег далёкой заманчивой страной, притя-

гивал, вызывал ощущение, какое бывает у ребёнка, когда он, рассматривая картинку, хочет уменьшиться и войти в её мир.

...Обаяние путешествия начинается сразу же. Пока идём по улице к речному вокзалу, мы выделяемся среди прохожих потрёпанными кедами, старенькими куртками и штанами, рюкзаками, но уже на сходнях дебаркадера сливаемся с толпой, вполне подходящей к нашему одеянию. Вёдра, узлы, бидоны, корзины на коромыслах, картузы, соломенные шляпы, повязанные по-деревенски платки, удочки, гитары на верёвочках. В воздухе снуют обрывки разговоров, осколки историй и рассуждений.

— Раньше кто воблу ест — бедняком считался...

— Давай, говорит, поспорим, что я Волгу в сапогах переплыву...

— Это чей чемодан у меня под ногами?

— Сажусь в самолёт, а сама уже покойница наполовину, трясусь, под ложечкой холодно...

— Я дураком прикинулся, разрешите, говорю, я со второго вопроса отвечать начну. — Нет-нет, говорит, лучше по порядку.

— Цирк!

— Во сколько же отправление?

— Подходит, подходит...

Солнце печёт и даже на самом лучшем месте, то есть на носу пароходика, жарко, хотя от воды нет-нет да и пахнёт пронзительной свежестью, мощным запахом влаги. Но это пока стоим, а как только пароходик отлепится от дебаркадера и, медленно забирая влево, станет выбирать к середине, вся прохлада огромной реки обнимет и станет лелеять вас, упругий, осязаемый рукой ветер умывает вам лицо и услаждает дыхание воздух — этот неповторимый, пусть отдающий слегка мазутом, смешанный с брызгами и дымом пароходика, но всё-таки прекрасный воздух Волги.

Трамвайчик увозит нас вверх по течению, к самому Жигулёвскому створу и пристаёт к старенькой, милой в своём провинциальном одиночестве пристани. Смолёный бок её осиян отражённым светом и драгоценно блестит. За сходнями начинается чистенькая, крепко утоп-

танная тропинка с травой по обочинам, некоторое время идёт прямо над берегом, и мы оба со всей амуницией отражаемся в Волге. Наши головы на отражениях окружены нимбами, как будто мы святые. Потом тропинка сворачивает и ныряет в зелёный сумрак леса.

— Давай разуемся!

Всякий, должно быть, замечал, что ходьба босиком пробуждает в душе какие-то древние, смутные чувства, как бы относит к ощущениям тех времен, когда человек ничего не писал и не говорил о любви к земле, а просто чувствовал землю кожей. Хорошо идти по постепенно дичающей, зарастающей дорожке, легко попирая молодую щекочущую траву и не уклоняясь от прикосновения мягких ветвей деревьев.

Потом мы и вовсе сходим с тропинки, идём целиком по густому, но чистому, вполне распутившемуся и расцветшему лесу, наискосок проходим поляну, которая в первый момент как бы легко ударила нас по глазам: посредине её белел почти правильный шар цветущей яблони, окружённый дремотным жужжанием пчёл. Яблоня не просто белела, она тихо светилась, наркотически благоухала и как бы томила под сладким игом красоты.

— Разве можно это променять хотя бы и на теорию диссоциации, — серьёзно говорит мой друг и у меня почему-то совсем нет желания ему противоречить.

Бивак свой мы разбиваем на самом берегу маленького родникового озера, затённого черёмуховыми кущами. Вода в озере странная: сверху смотришь — тёмная, как бутылочное стекло, а наберёшь в ладонь — она сразу кажется прозрачнее самого воздуха, прохладна и слёзочиста.

Пока натягиваем палатку, какая-то совсем добродушная на вид тучка опрокидывает на лес бочку парного искрящегося дождя. Он лился каких-нибудь пять минут, но как же преобразилось, как горячо заблестело всё! На траве и на листьях повисли крупные капли и, если правильно смотреть на какую-нибудь из них, капля начинает играть десятком цветов, напряжённо вращаться сама в себе, дрожать и вспыхивать, словно желая высказать что-то сокровенное.

Мы говорим, что в человеке бывают минуты высокого вдохновения, когда обозначаются лучшие черты его ума и сердца, когда вскипают и ищут выхода творческие силы. Должно быть, присущи такие состояния и самой природе, самой матери нашей — земле. Сравните, например, скуку серенького невзрачного дня с погожим закатом, с его огромной лирической мощью, когда красный щит солнца заметно глазу опускается за синюю кайму цепенеющего леса. Разве это не вдохновение природы!

Уже после солнечного заката пошёл я за озеро собирать валежник. В пологую долину натёк сырой и прохладный воздух, на разных уровнях плавали синие слои тумана, где-то далеко в густеющем сумраке начал похатывать филин и сотня, должно быть, соловьёв щёлкала со всех сторон. И возникло странное ощущение, что есть во всём этом присутствие какого-то сознания, как будто и деревья, и туман, и небо с наметившейся льдинкой месяца смотрят на меня и всё понимают, всё чувствуют.

Но главное, что запомнилось, было всё-таки не это. И даже не сидение у затухающего ночного костра в его малиновом полумраке. Даже не печёная картошка.

Ночью я вдруг проснулся как бы от какого-то смутного волнения и, лежа в крошечной тьме палатки, соображал, что же меня разбудило. Стояла немая, непроницаемая, плотная тишина. Такая тишина, что слышались и стук сердца, и лёгкий шелест кровяного тока. Так прошла минута-другая. И вдруг кто-то явственно, чётко и звучно сказал надо мной:

— Чкво?

Ничего ещё не понимая, я приподнял голову и весь напрягся. И вот опять.

— Чкво? Чкво? Цкверррек!..

Соловей! Он был не просто рядом, не просто рукой подать, он, по-моему, сидел если не на самом коньке палатки, то на одной из ближайших веток, буквально на расстоянии метра. Пел он, не торопясь, с расстановкой, с какой-то потрясающей серьёзностью. Звуки его песни были настолько определённые и отчётливые, что казались материальными, чем-то вроде жемчужин, омытых росой и влажностью ночи. Всё это было невероятностью, вол-

шебством. Я хотел разбудить товарища, но он сам толкнул меня рукой: не спал.

Соловей пел громко, выразительно, он как будто и не пел вовсе, а разговаривал, держал речь перед притихшим миром, властно напоминал о чём-то. О чём? Должно быть, о самом простом и важном, о том, что земля прекрасна и мы, её дети, рождены для высокого, бесконечного счастья.

Липа вековая

Вы идёте лесной дорогой в самый разгар и молодую зрелость лета, которая наступает в начале июля. Если даже предположить на минуту, что вы лишены поэтической жилки и у вас нет охоты занимать внимание щедрыми подробностями природы, что вы погружены в будничные, деловые мысли, — всё-таки в любом случае вы, пусть бессознательно, пусть смутно ощущаете тихую отраду от того, что фоном вашим думам служит этот голубой, зелёный, тёплый, душистый, пощёлкивающий птичьими песнями мир. Как сладко дышать, как хорошо, проходя мимо столетнего дерева, чувствовать нежную свежесть тени и щуриться, глядя на золотые пятна пролившегося сквозь решето ветвей солнышка. В эту пору цветёт липа.

И как цветёт! Ещё издали вы ощущаете её томительное, настоянное на июльском зное благоухание. Кажется, это пахнет само лето. По мере приближения к дереву аромат, вначале несильный, но поразительно ровный, устойчивый, пропитывающий всю окрестность, делается отчётливее, яснее, но никогда не достигает вульгарной крепости и сохраняет лирическую прелесть хорошего, если можно так выразиться, вкуса, которым во всех случаях обладает природа. Если бы запах обладал цветом, мы увидели бы ореол мягкого, золотисто-матового тона, кольцом охватывающий липу почти на версту.

А вот и она сама. Высокая, стройная, с мощно развитой кроной, оцепеневшая от зноя и окружённая сонно-сладостным жужжанием пчёл, слетевшихся за взятком. Сейчас она настоящая, бесспорная, единовластная царица леса. Недаром в старорусском календаре июль носит название «липень».

По размерам, по обхвату ствола старая липа — одно из самых крупных деревьев наших лесов. В этом смысле

она не уступает, пожалуй, и дубу. Но согласитесь, что, несмотря на мощь и объём, в липе всегда сохраняется что-то женственное, мягкое, грациозное. Тут она, может быть, только берёзе уступит.

Но в одном липа держит бесспорное первенство. Ни одно дерево не может похвастаться такой глубиной проникновения в человеческий быт, такой разнообразной связью со многими сторонами жизни человека, сельского — в особенности.

На старых базарах в деревянных рядах в изобилии были развалены, разложены, расставлены изделия из липы. Что вам нужно: мочало, верёвки, рогожи, циновки, квашни, кадки, лубочные тески, ложки, кружки, жбанчики и т.д. и т.п. Как всё сделано артистично, ловко, хитро и остроумно. Современные изделия из пластмасс и синтетических материалов тоже легки, удобны, красивы. Но всё-таки, что ни говорите, лежит на них печать конвейера, штампа. А тут буквально на каждой вещи чувствуется прикосновение живой человеческой руки и это придаёт ей обаяние искусства.

А уж как пахнут эти липовые поделки! Хоть простейшую мочалку взять — как чувствуется в ней солнце, лес, живые соки дерева.

Древесина у липы мягкая, лёгкая, податливая под инструментом. Цвет у неё благородный, молочно-белый. А кора крепкая, отстающая всем чулком от дерева. Из целых штук такой коры делали кузова для телег — легки они, как пушинки, а кладки выдерживают много. Зато уже не шла, конечно, липа, скажем, на тележную ось, на оглоблю и вообще на что-нибудь, требующее несокрушимой крепости.

Как-то рассказывал мне восьмидесятипятилетний, но ещё бодрый и свежий умом крестьянин Николай Иванович Головин об ужасах голодного двадцать первого года.

— Такое, милый, подошло, что стали мы липовый хлеб есть!

— Как, то есть, липовый?

— Деревянные лепёшки делали. Привезёшь из лесу липу, распилишь, расколёшь мелко, высушишь, а потом из этих лучинок натяпаешь совсем маленьких кусочков. С полмешка натяпаешь и идёшь на мельницу молоть. Сыплешь под жернов, мука получается, да такая тонкая, белая,

не отличишь от пшеничной. На глаз, конечно, не отличишь, а брюхо отличало. Съешь лепёшку из такой муки — и кричишь криком. Но деваться некуда было — ели.

А разве нельзя поставить липе в заслугу то, что она в своё время обувала бедняцкую Россию?

Лыко на лапти драли в петровки, со вполне распутившегося молодого дерева. Уму непостижимо, сколько надо было надрать лыка на всю Россию и сколько при этом погибало деревьев. Однако ж вот липовые леса не исчезли и даже, пожалуй, не уменьшились. С умом драл крестьянин.

После обдирания к плетению лаптей приступали не сразу, давали лыку подсохнуть, или, как говорит Николай Иванович, «замежениться». После этого лыко замачивали, отдирали внутренний слой, потом брались за колодки и кочедыки.

— Вострее меня лапотников в деревне не было, — говорит Николай Иванович. — Я ведь и в гражданскую войну в лапотной команде служил.

— Разве были такие?

— Эх, друг, а как же ты думал? Революция-то ведь не в лаковых сапожках ходила, а в лаптях большинство. Помню, как меня в лапотную команду определили. Я первое время дивился: что это как ребята быстро плетут? Я сизмальства научен, а отстаю от них. Пригляделся и вижу: брак дают. Кое-как заправят концы лык — и лапоть в сторону. В моём лапте хоть воду носи, а у них — трубкой свернуть можно. Я говорю: «Не годится так, ребята. Для товарищей ведь делаем, не по совести нельзя». Поговорили-поговорили, меня старшим команды и поставили. Вот я в каких чинах был... А один раз, — рассказывал он, — сдался нам почти весь белый полк. Стали мы их солдат к себе агитировать. Один и спрашивает: а какая, мол, будет в Красной Армии обувь и какое питание. Комиссар меня увидел и показывает: он, дескать, лучше скажет. Я вышел перед ими и говорю: обувь у Красной Армии будет холодная, а питание голодное. Мы, говорю, не в английских шинелях воюем, а в своих лапоточках, да зато знаем, за что. Солдат-то тот сразу из строя вышел и кричит своим: «Раз они нас в этом деле не обманывают, значит, и в другом их правда. Пишусь в красноармейцы».

...Сейчас, когда отошли годы тяжёлых невзгод и лишений, оглядываясь назад, видишь, как много значила для трудового человека сыновняя привязанность к земле, природе. Как часто выручало в чёрные дни крестьянина знание трав, вод, цветов, деревьев.

...Едешь по необычайно живописной, то мягко падающей в широкие долины, то возносящейся на возвышенности краснойярской дороге, и хочется неотрывно смотреть на стоящий по обеим сторонам чистый, ровный, густой и весёлый липовый лес. В одном месте его прорезает широкая просека, по которой широко шагают опоры высоковольтных линий.

Но как хорошо и привычно теперь слагается для нас этот пейзаж — индустриальные, вызывающие какие-то космические ощущения колоссы, и ласковый, женственно-застенчивый, разливающий теплоту по сердцу липовый лес. Сколько ему лет? Надо думать, не менее шестидесяти. Значит повидала эта липа на своём недолгом ещё деревянном веку и мужика, пахущего сохой землю, и красноармейца в остроконечном суконном шлеме, услышала первый, негустой ещё гул тракторов, увидела, как с каждым годом увеличивался и мощнел поток машин, с хищным свистом проносящихся по асфальтовой ленте дороги. Увидела и этих вот великанов, несущих на себе тяжёлые провода высокого напряжения.

Неузнаваемо меняется земля, всё больше и больше новых примет на ней. Но как бы ни изменялся облик родных просторов, на равных правах со всеми другими деталями пейзажа непременно будет входить в него и липа — одно из любимых народом деревьев.

Понаблюдайте, как часто упоминается она в народной поэзии, песнях. Когда по радио, пусть даже в пору зимних выюг, слышится вам «Липа вековая...», то приходят на ум не тёмные аллеи парков, а именно лесная столетняя липа в полном цветении, источающая медовый аромат, гудящая пчёлами, пьющая солнце.

И как-то сами собой встают перед глазами широкие просторы земли, желтеющих нив, горячо сверкающих рек. И невольно шевельнётся в душе дорогое нам чувство любви к Родине.

Содержание

Иван Никульшин. Голос родной стороны.....	3
---	---

Шла весна

Свирепая вода	8
Каткины слёзы	17
Сеновал	24
Я люблю вас, Колька!	39
В кабинете с зелёными шторами.....	47
Шла весна... ..	60
Машенька	72
Вдохновение	86
Верзилиха	94
Смерть Игната Струнникова	102
Запах росы	111
Мать.....	117
Жених и невеста.....	125
Землепроходец.....	136
Личная жизнь	150

Крестьянское гнездо

Родимая сторона.....	170
Хорошая фамилия.....	180
Синее небо после дождя	184
Степная порода	194
Крестьянское гнездо.....	201

Река детства

Река детства.....	208
Тенетник	216
Листопад.....	219
Сухая Грива	221
Заяц	224
Девочка на санках.....	225
Вкус воды.....	227
Ночная песня	230
Липа вековая	235

Евгений Васильевич Лазарев

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Рассказы, очерки и были, лирические этюды

Самарская областная писательская организация
искренне благодарит за поддержку и помощь
в реализации проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

Ольгу Васильевну Рыбакову,

Лидию Алексеевну Анохину

Книга издана за счёт средств бюджета Самарской области

Руководитель проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

Александр Громов

Издание подготовлено издательством

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,

телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 04.05.2009. Формат издания 84х108/₃₂.

Объём 15 печ.л. Гарнитура Georgia. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Книга»

г. Самара, ул. Песчаная, 1, офис 404, телефон (846) 267-36-82